

Alessandro Nazari

MCVI



Алессандро Надзари

МСМ

«Автор»

2016

Надзари А.

МСМ / А. Надзари — «Автор», 2016

Париж, 1900 год, Всемирная выставка. Место и время, где сплетаются архитектура и мифы, промышленный шпионаж и мистическая революция. Город-театр, где заговор оборачивается грандиозным спектаклем абсурда. Город-фабрика, что неуёмно производит желания и амбиции, а их сладостно-горьким осадком, словно углём и чернилами, пишет историю. Город-корабль, что, как верно гласит его девиз, раскачивается на волнах, но не потопляем. Однако выдержит ли он грядущий шторм? Не угаснет ли свет в Городе огней? Наконец, что или кто определяет его конструкт? Всё это — в не лишённом иронии, драмы и магии романе городских приключений «МСМ».

© Надзари А., 2016

© Автор, 2016

МСМ

Моим родителям

Предисловие

Одни романы дышат как газели, другие – как киты или слоны.
Умберто Эко, «Заметки на полях „Имени розы”»

И этот роман я отношу к числу других. Если, конечно, не отказываюсь понимать, что он мертворождённый.

Впрочем, следовало бы начать с фразы «это не роман» или «это не книга», но вряд ли станет лучше, если вместо сих громких слов использовать что-то вроде «произведения» или набившего оскомину «текста», поэтому переходим к следующей установке (и будем помнить, что это пятиминутка заламывания рук).

Итак. Это не исторический роман.

И даже не «исторический роман с добавлением магии». Это игра в исторический период, выросшая из нескольких не самых умных мыслей и наблюдений, распаливших желание что-то создать. Полешко «хочу стимпанк/протодизельпанк про Францию, а то жанр больно англосфероцентричный», полешко «изволю роман о городской архитектуре», полешко «желаю нечто о предчувствии несчастливой звезды¹ мифоборческого и мифопоборнического века, в котором мы родились», ещё одно, ещё одно... – естественно, (не) получилось ни то, ни другое, ни третье, ни энное – сложить их домиком, подложить бумагу для растопки, чиркнуть спичкой «ты сможешь» и наблюдать, что получится, надеясь, что зачинающееся пламя не угаснет, поскольку начинающий пироманьяк не уследил за подачей кислорода.

Книга оперирует деталями, свойственными рубежу XIX-XX веков, однако сомневаюсь, что передаёт дух эпохи с точностью и глубиной, позволяющими ей претендовать на звание исторической. Некую атмосферу художественными средствами я попытался нагнать и поддерживать, но обращаю внимание, что именно художественными, а не историческими (и всё же книга лжёт меньше, чем кажется).

Вы встретите знакомые имена и названия, однако предлагаю воспринимать их лишь как образы, в той или иной мере навеянные реально существовавшими людьми и объектами, но

никогда полностью их не копирующие, а в ряде случаев и вовсе уподобляющиеся отголоскам. За неизбежно присутствующую спекуляцию я и так себя корю.

При этом создании романа, стоит признаться, сопутствовала некоторая замороченность по поводу астрономии, инфраструктуры, хронологии и метеорологии, во многом определившая «анатомию» повествования. К слову, это было перечисление в порядке логарифмического понижения точности.

Хронология могла бы передвинуться и на второе место, если бы не пришлось, к примеру, события пятой главы на много дней приблизить к событиям четвёртой, иначе роман грозил превращением в барочный (хоть роман тему барокко и задевает по моей труднообъяснимой прихоти), а до этой формы я пока что не дорос и не уверен, что текстура получилась бы порубенсовски мясной – скорее, просто рыхлой. При этом, признаю, роман и без того можно обвинить в эвфуистичности, однако за этим – простите за признание, но не считите за оправдание – стоит игра-эксперимент.

И также хронология не заняла бы первую позицию из-за вольностей в плане истории техники. Прошу вас учесть, что анахронизмы не порождены незнанием; встречаются как забегающие вперёд, так и канувшие в Лету к моменту завязки истории, а часть того, что анахронизмом показаться может, таковым на деле не является (и, разумеется, присутствует то, что существовать никак не могло или же никогда реализовано не было). Эта вывернутость, в ряде мест подчёркнутая использованием неологизмов и заимствований, также свидетельствует, что к истории книга отношения имеет весьма опосредованное.

Более того, если обращаться к определению хронологии как последовательности событий во времени, то вы, вероятно, обратите внимание, сколь причудливо себя начинает вести это самое время в третьей части книги, сколь *вместительным* оно становится. Впрочем, вполне допускаю, что-то происходит не с ним, а с пространством или самими персонажами – сродни эффектам скосиглаза из «Пены дней». Так или иначе, подобное искажение не позволяет говорить об объективности и корректности хронологии.

К идее же определить роман как произведение жанра «альтернативной истории» отношусь с опасением из-за, позвольте так выразиться, горизонтального переноса и предубеждения, накопленного к упомянутому роду литературы – в особенности за все последние годы его существования.

Далее. Это не философский роман.

Вы встретите термины, подозрительно похожие на те, что составляют дискурс философии постструктурализма, но мифология романа, в свою очередь, выстраивающаяся на сплетении нескольких различных мифологий, вкладывает в них иные смыслы и взаимосвязи. Впрочем, не могу и опровергнуть, будто это не экивок на тему, поднятую Брикмоном и Сокалом в «Интеллектуальных уловках»: если сами философы заимствуют терминологию из одной области наук и модифицируют её значение для собственной, то почему бы не провернуть это над ними самими? Но не подумайте, что я нарочно желал устроить постструктуралистам какую-то пакость, а в фундамент книги заложена идея тонкосаркастичного подрыва пласта философской мысли (ну, и не будем вспоминать, что до этого пласта «добурились» как раз в городе, где действие романа и происходит). Вовсе нет, роман не о том, да и куда мне до подобных игр. Ищ.

Если же под «философским романом» подразумевать литературоведческое определение его как книги с повышенным или хотя бы заметным содержанием философских же концепций, и эти же самые концепции отрабатывающей, то мне, пожалуй, достаёт самокритичности не утверждать, будто это требование соблюдается.

Совершенно нескромным выглядело бы и заверение, что роман наследует символизму.

На остальных видах, если кто таковые помнит, и дальнейших попытках классификации останавливаться не будем; вы вольны дать собственное определение, не говоря уже о том, чтобы и со мной не согласиться.

Перейдём к основной проблеме книги (кроме её автора, но и это тоже).

Дополнительную сложность в чтение (помимо языка, темпа, композиции², необходимости каждую третью страницу лезть в «Википедию» или поисковик – в общем, всё печально, закрывайте и не читайте) вносит то, что события имеют место на протяжении Всемирной выставки 1900 года.

Следы подстройки города под потребности Выставок – и этой, и предшествовавших ей – до сих пор заметны в планировке седьмого и восьмого округов как негативное пространство, однако от самих экспозиций мало что осталось в вещественном смысле: по большому-то счёту лишь Эйфелева башня, Большой и Малый дворцы, мост Александра III, «Улей», а также некоторые другие объекты, куда менее знаковые и узнаваемые, и редкая мелочь, если не упрятанная в музейный подвал, то раскупленная и растасканная, сменившая назначение.

Пожалуй, размышления об этом негативном пространстве достойны самостоятельного эссе, но пару строк уделю здесь, поскольку это представляется концептуально важным даже не для самой книги, но для чего-то более высокого (глубокого?) и протяжённого во времени. Проявление присутствия даже не пустоты, а исчезновения, удаления, прекращения, раздирания, трещины, разлома – разрыва – оказалось весьма симптоматичным.

В той или иной мере (секс-)символом и маркером определённой эпохи (разумеется, в большей степени для литературы и визуального искусства, причём уже наших дней) стал дирижабль, и её же концом обозначают катастрофу «Гинденбурга» в мае 1937 года. Однако стоит понять, что дирижабль был *одним из* свойственных эпохе конструкторов – также утраченных к тому году. Для меня конец эпохи – уход с арены трёх таких материально-символических конструкторов. Дирижабли утратили «гражданское» доверие, но всё же сохранились. Безвозвратной же оказалась гибель в последний раз сгоревшего тридцатого ноября 1936 года и разобранного на металлолом Хрустального дворца. Участь сноса постигла к 1937 году и дворец Трокадеро, эклектичный, сплетавший в себе восточное и западное. Однако на удобренной его прахом почве возник новый.

Дворец Шайо, построенный ко Всемирной выставке 1937 года, представляет собой инверсию предшественника: могучие крылья-корпуса и – отсутствие соединяющего их центра. Нет, технически этот центр есть, но он утоплен в землю, виден со стороны фонтана (то есть со стороны набережной) и никоим образом не способен доминировать в архитектурной совокупности комплекса. Проявления удвоения и предпосылки к его усилению были и у дворца Трокадеро: две неомавританского стиля башни выше основного купола, – но в архитектуре дворца Шайо видится что-то тревожное. Что-то, что должно было транслировать идею уравновешенности, равенства, встречи и диалога, но, по сути, лишь отрефлексировало, если не умножило и оттенило накапливавшийся и начавший проявляться во второй половине тридцатых годов ужас, в том числе ужас перед модернистскими режимами: однозначными, плоскими, играющими во что-то имперское, переходящими, говоря языком В. Паперного, в стадию Культуры-2.

Вспомните – или лучше даже отыщите – известную фотографию с той Выставки, а на ней – взаиморасположение и исполнение павильонов СССР и Третьего рейха: ориентированных на вертикаль, зауженных, но без лезвийной хрупкости, будто готовящихся ломать и кромсать перед собой, словно нос ледокола, – этих верстовых, дистанционных, пограничных столбов, триумфальных колонн, куда менее «открытых», чем многие из окружавших их, по последней моде одетых в стекло, строений. Это не только явное соперничество. И даже не только конфронтация.

Это нечто, что становится познаваемо и осознаваемо с помощью непрямой симметрии и зеркальности. Это нечто, что стремится найти, с чем сможет себя сравнить, чему может себя противопоставить. И для большинства окружающих интенционально производит – в совершенно индустриальном смысле – ужас-предчувствие. А вместе с ним – и особое гравитационное поле власти.

И если кажется, что одно такое поле только лишь притягивает к себе и формирует орбиты, то при сближении и взаимодействии двух подобных полей становится заметно, что в своих гравитационных играх они разрывают континуум, влекут не к себе, но вовлекают в себя (если только не ставят цель пожрать, поглотить без остатка); они не смешиваемы и не могут сформировать двойную систему, они под действием властных сил могут двигаться навстречу, но – лишь к катастрофе.

(Возможно, для описания процесса разбега-сближения-разрыва вы предпочтёте сравнение с отливом перед цунами, а не абстрактно-космическое.)

И чем более они сближаются, тем более требует материализации формируемый их полями разрыв, тем большим содержанием наполняется негативное пространство – да и вовсе начинает осознаваться как пространство и объём.

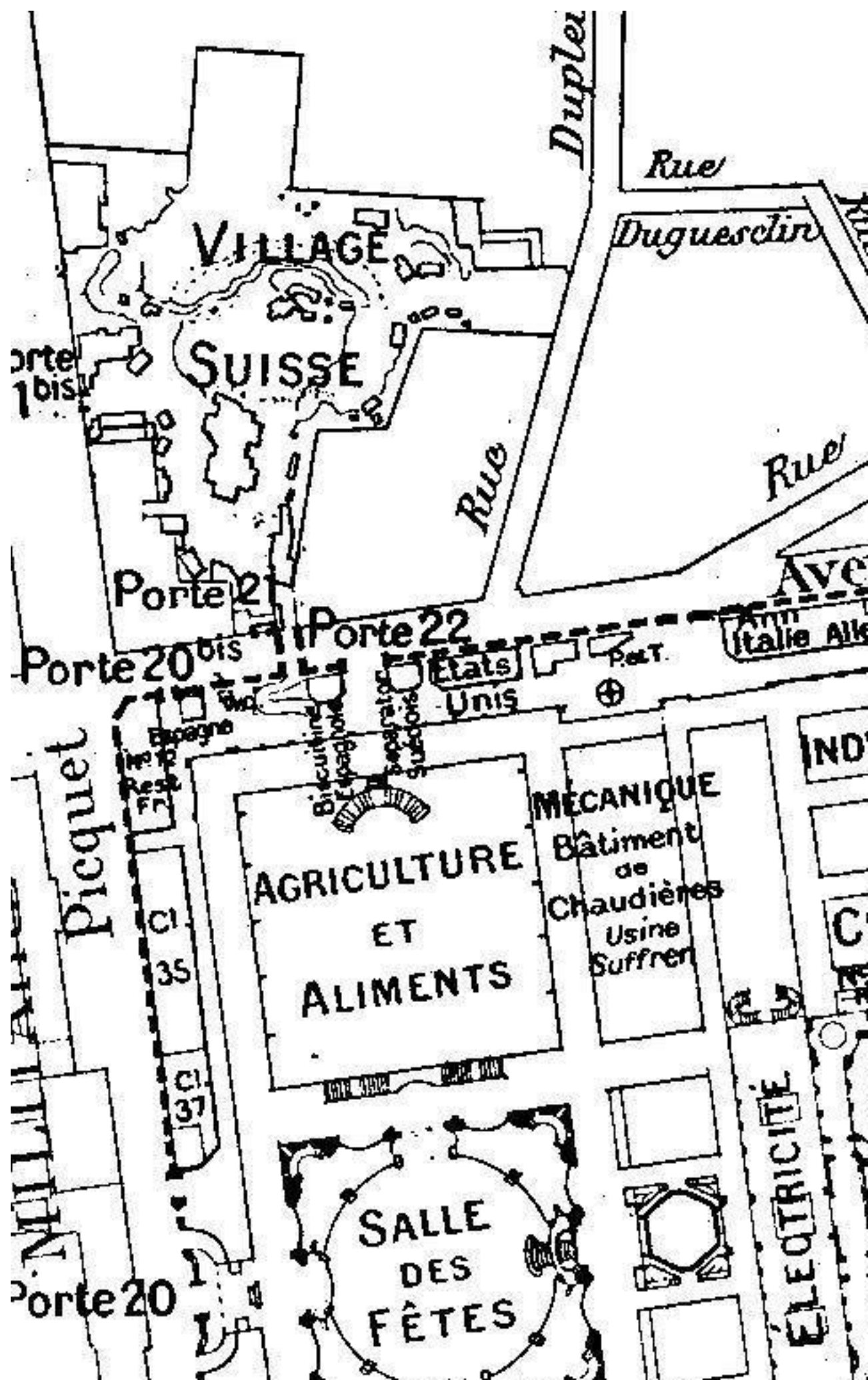
Разумеется, то были не первые и не единственные ориентированные на вертикаль конструкции для означенной выставки (не только, скажем, США, но даже и Ватикан, Венгрия и Ирак, переживавшие и пережёвывавшие, стиснув зубы, любопытные моменты своей истории, на что-то надеялись и также предпочли «высоту») или в целом для выставок тридцатых годов, но – сравните экстерьеры.

Впрочем, оставим дальнейшие измышления и остановимся на предположении, что, будь то возможно, и Эйфелеву башню бы разворотили во все четыре стороны, превратив в железный цветок без манящей, полной нектара сердцевины, и всё же, всё же затягивающий пустотой и в пустоту, разрывом и в разрыв. И уж тем более довольно, как для предисловия, об этом... *dirupterror? tearror? écarterreur?* Название ещё предстоит дать.

Так или иначе, чтобы вы имели хоть какое-то визуальное и пространственное представление о происходящем, я ещё немножко поднапрягся и сделал гугл-карту территории (важное уточнение: иллюстрации на метках показывают, что вы видели бы с этих точек, а не то, что было на них самих; жаль только, что нельзя заодно как-то сразу указать направление обзора).

Также роман предваряет традиционная карта сей ярмарки тщеславия, труда и празднотшания, выбранная в качестве основной (и фактически является той, что в первой главе один персонаж передаёт другому).

Приятного чтения.



Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище Тебе, место для вечного Твоего пребывания.

Паралипоменон, вторая книга

Вы, что питаете плод, чьё было не сеяно семя...

Вергилий, *Георгики*³

Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину, вся какого-то переливчатого желтовато-белого цвета, и от центра её во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд, и готовых, казалось, схватить без разбору всё, что бы ни очутилось поблизости. У неё не видно было ни переда, ни зада, ни начала, ни конца, никаких признаков органов чувств или инстинктов; это покачивалась на волнах нездешним, бесформенным видением сама бессмысленная жизнь.

Герман Мелвилл, *Моби Дик, или Белый Кит*⁴

О древний Океан! Как ты силён! На собственном горьком опыте убедились в этом люди. Они испробовали всё, до чего только мог додуматься их изобретательный ум, но покорить тебя так и не смогли. И были вынуждены признать над собою твою власть. Они столкнулись с силой, превосходящей их. И имя этой силы – Океан! Они трепещут пред тобою, и этот страх рождает в них почтение. Ты резво, легко и изящно играешь с их железными махинами, кружа их, словно в вальсе. Послушные твоим капризам, они взмывают вверх, ныряют в глубь зыбей так лихо, что любого циркового акробата разобрала бы зависть. И счастье, если тебе не вздумается затянуть их насовсем в кипящую пучину и прямоком отправить в свою утробу – тебе для этого не нужно ни дорог, ни рельсов, – чтобы они поглядели, каково там живётся рыбам, да заодно составили им компанию. «Но я умнее Океана», – скажет человек. Что ж, возможно, и даже наверное так, но человек страшится Океана больше, чем тот страшится человека, и в этом нет сомнения. Сей патриарх, свидетель всего, что совершалось на нашей висящей в пространстве планете от начала времён, снисходительно усмехается при виде наших морских «битв народов». Сначала соберётся сотня рукотворных левиафанов. Потом надсадные команды, крики раненых, пушечные выстрелы – сколько шуму ради того, чтобы скрасить несколько мгновений вечности. Наконец представление окончено, и Океан глотает все его атрибуты. Какая бездонная глотка! Она уходит чёрным жерлом в бесконечность.

Лотреамон, *Песни Мальдорора*⁵

Послушай, Китти, давай-ка поразмыслим, чей же это был сон? Это вопрос серьёзный, милая, так что перестань, пожалуйста, лизать лапу!

Льюис Кэрролл, *Алиса в Зазеркалье*⁶

Калибровка оптики

Ночь. До того густая и плотно укутанная толщей облаков, что иные могли бы и поспорить: то город или дно морское? То означающие безопасность и уют фонари или охотничья биолюминесценция хищников? То постройки, превозносящие амбиции их создателей, или кораллы и остовы кораблей, поверженных штормами и баталиями? А нечто ритмичное, витающее вокруг и откуда-то оттуда – то тихий, нашёптывающий «memento mori»⁷ тик часов или касание вёслами далёкой водной глади? А может, стрелки часов вёслами и были? Время расплывалось.

В одну из многометровых громад юркнула белая фигурка. *Она* что-то искала. Повиновалась интуиции. Пробовала с чем-то свериться у себя на руке, но от безуспешности, едва бубня, выругалась: «Чтоб меня», – и продолжила путь по наитию. *Она* легко затерялась в тенях и тьме неосвещённых пространств. Потом вновь выплыла, сама лишь смутно догадываясь, где именно. «Котлы. Для грешников?» – усмехнулась *она*, потеряв один из таких и отчалив дальше.

Сообразила, что петляниям в мрачном металлическом лесу лучше предпочесть прямоту дорожек верхнего яруса. Приходилось двигаться тише: подошвы *её* костюма были мягки, но вибрации оголённому железу конструкции всё равно передавались. Так *она*, в зависимости от просматриваемых зон, уподоблялась то кошке, то медузе.

Что-то привлекло *её* внимание. Внизу. Похвалила себя за прозорливость. Точка для наблюдения была удобной. Метрах в пятнадцати-двадцати от *неё* три фигурки, укрытые – как они самоуверенно считали – какой-то тёмной, вбиравшей в себя свет тканью, копошились падальщиками над стендом с неким аппаратом, совершали технократическое таинство, водружали над тем агрегатом какой-то собственный. И всё то – под редчайшие шепотки, которые *она* силилась разобрать. И ни разу не взглянули наверх. Ах. Нет.

«Ой». Они заметили друг друга. И пытались опознать видовую принадлежность добрых полминуты. Увы, только эти секунды добрыми и были. Далее могла начаться лишь охота. *Она* отшатнулась, вертела головой и искала, куда отступить.

Он отдал пару кратких команд, дёрнул за какие-то кольца и рычаги у себя на костюме, – *она* только сейчас поняла, что облачён он был в чёрные кожу и сталь, что пришла в движение и зашипела, зафыркала – и, всё более превращаясь в минотавра, вырос на фут.

«Беги».

И *она*, побивая собственные рекорды, помчалась прочь. Для него *её* бег был подобен пунктирной линии. Ему не нравилось, что он так легко терял *её* в полных тенях. И, слегка разогнавшись, помогая себе механическими когтями, в итоге перемахнул на верхний ярус. Теперь это был неравный спринт. *Она* не могла придумать ни одного манёвра. Впереди был тупик. Прямо перед *её* носом какой-то книдоцист рассёк воздух и разбил окно, в которое *она*, не раздумывая, выпрыгнула.

Удачно упала на мягкий навес, но поспешила сползти с него и аккуратно двигаться от тени к тени, от палатки до палатки, незадерживаясь ни в одной. *Она* могла бы уйти за ограждение, но – нет, нет, она должна была двигаться к реке. Погоня, кажется, отстала. «Я ведь им с чем-то помешала. Сматывают удочки», – ухмыльнулась. Но всё же не сбавила темпа и вскоре вышла к знакомым очертаниям – монструозному Дворцу оптики, в котором гаргантюанский телескоп готов был заглотить все звёзды разом.

Лихорадочно раздумывала, не спрятаться ли в каком-нибудь из павильонов-аттракционов. «Нет, загоню себя в угол». И *ей* непременно нужно было на тот берег реки, но сначала – добраться до ближайшего – одно что до него оставалось уже недолго – и особой акробатики уже не требовалось. Прочла слова, высеченные на деревянной плашке: „Секция охоты и рыболовства”. «Очаровательно. Прелестно. Да, спасибо, я поняла намёк». В это время увидела и другой – спасительный. И начала очень быстро, но с определённой последовательностью скрести зеркальце на руке, поворачивая его то так, то этак.

И даже не услышала – почувствовала, как за спиной вырос силуэт-преследователь. Сглотнула. Но всё же как-то хитро изогнулась и весьма точно и больно ударила охотника ногой, а когда тот подсогнулся, исполнила что-то вроде кросса. И подставилась. Он перехватил её руку. Сцепились. Какое-то время они безуспешно боролись. Он не хотел ей причинить боль сильнее необходимого, только обездвижить. И всё же – обездвижить. Она это понимала и не давалась, отступала при первой возможности. Всё ближе был край набережной. Наконец, зеркальце порадовало её особым отблеском. А вот то, что она сейчас свалится – не особо. Падение или пленение казались физически неизбежными вариантами. Но не для неё. В его руке она увидела блеск иной: очень неприятный, металлический – иглы шприца. Вложила все силы в последний рывок. Неудачный. До того неловкий, что лучше никогда себе не признаваться в том, что он был. Она запнулась и перелетела через ограду. Ткань на рукаве с утробством, которое он до сих пор не выпускал из хват, разорвалась, и она выскользнула – исчезла.

Он рассчитывал услышать звук падения о песок или всплеск воды, но не дождался ни того, ни другого. Свесившись, вглядывался в пустоту. Будто никого и не преследовал. Нет же, вот доказательство. Потрогал болевшие участки тела – и ещё вот. «Только доказательства чего?» В зеркальце, – а вернее, в двух, – он видел лишь укрывавшее лицо маску. «И где её теперь искать?»

I. Lux ex tenebris

1

Сорок восемь градусов пятьдесят минут северной широты и два градуса двадцать минут восточной долготы. Лабиринт из песчаника, известняка, гранита и булыжного камня, смягчённый зеленью листвы, с ариадновой нитью речной лазури и венчающей его вершины сапфиро-цинковой филигранью. Город. Миф. Грёза, приключаящаяся в сладкие и вязкие минуты провала в утреннюю дрему после нечаянного пробуждения.

Чудесный композитный кристалл, грань за гранью, плоскость за плоскостью поглощаемый сумраком сновидческого мира, влажной бездной, свет в которую изливается как сверху – и природа его понятна и естественна, – так и снизу, из онейрических глубин, геометрия и структура коих ведомы и проницаемы лишь отчасти. Это тьма, что порождает свет давлением накапливающихся, множащихся, вновь прибывающих знаков и символов, производит его как дублирующую систему трансляции и считывания себя, ей недостаточно, чтобы её познавали по текстуре. Вместо касания её самой она с липкой мягкостью навязывает касание её образов. О да, она всегда изволила быть прочитанной, но прямому подтверждению предпочитает коллекционирование и присовокупление плодов размышлений несчастных, причастившихся её таинств.

И как только от набегающей волны эфира древнейшего инстинкта начинает натягиваться и звенеть церебральная струнка, а разум готовится возвратиться в мир яви, прекрасное таинственное свечение, ласкающее нефизиологическое нутро и продуцирующее секрецию, в недостаточной степени порождаемую реальностью, манит погрузиться глубже...

Сказано, что города рождаются из воды. Чаще – воды речной, пресной, текущей в одну сторону – не здесь ли исток индустриального викторианского линейного времени? – и поддающейся человеческим пониманию и способностям. И тому можно найти основания биологические, исторические, инфраструктурные – какие дамам и господам будет угодно в первую очередь, сообразно их вкусу и представлениям о генеалогии городов. Однако, в отличие от

большинства иных увенчанных легендами полисов и метрополий, зачатых и покоившихся на берегах, сей град на зависть остальным вынашивался на острове, где помещался он один.

Его эмбрион был надёжно окутан водами, лишь парой мостов-сосудов он сообщался с большой землёй, по реке и суше к органеллам и обратно от них текли питательные вещества: товары, деньги и знания – на зависть остальным... Свой взор обратила на него имперская махина, с южного берега произвела хирургическое приращение урбматерии, создав новые мембраны и механизмы обмена энергией и продуктами жизнедеятельности. А затем пронзила сердце плода иглой кардо максимум и инъецировала коллоидный раствор Вечного города. Сети улиц началась кристаллизация. Стоит ли удивляться, что спустя какое-то время островное лоно стало мало, и он вышел за пределы околплодных вод реки-матери, дитя Океана и Тефиды, закрепился на континенте и приступил к творению своей малой – городской – стихии, созданию и направлению потоков: впитывать, насыщать, преобразать и преобразаться, а затем выпускать, скорее даже выплёскивать – в общем, действовать, сообразно гению его конструктора, претерпевая метаморфозы как естественные и ожидаемые, так и внезапные – инвазивного свойства. И подобно кругам на воде он расширялся, рябью сменялись его стены и дороги...

К сожалению, описывающие дальнейший онтогенез образы рассыпаются калейдоскопическими осколками, оставляя от содержания своими яркостью и пестротой одно лишь сожаление о недосказанности, о невкушаемой сладости разбитого, и плаваются, покуда разум, ещё не вполне придя в сознание, уже химически орошается секретцией и опалается потребностью встретиться с предстоящими дневными хлопотами, встряхивается вслед за телом-носителем, которому механическая природа взаимодействия поездного состава и железнодорожных путей передаёт вибрацию от встречи колёсной пары с очередным рельсовым стыком. Такова, пожалуй, участь любого беспокойного, как лодчонка на волнах, сна пассажира поезда, в особенности – следующего в Город огней. А уж тем более и вдобавок ко всему сжигаемого солнечными бликами, наводимыми неуёмным и чем-то рассерженным юным Архимедом с некоего начиненного медного предмета, что он вертит в руках и скрывает, как только в проходе, где он стоит, появляется Фидий, определённо не одобряющий ни цель, ни методы психо-оптического эксперимента.

Тот год был уже четвёртым, когда все дороги, включая и эту – лионскую – ветвь, вели в сей град, вновь ставший мировым центром притяжения для тех, кто находит удовольствие и интерес в достижениях техники и науки, сулящими не только сколь скучный, столь и прибыльный рост производительности, но также и новое качество жизни, обеспеченное комфортом, обслуживанием и развлечениями.

«Не требующее раздумий, а одного только умения в пользовании. Потребительское. Вызывающее привыкание – и этим привлекательное и *вызывающее*. Но не вызывающее. Обменивающее избавление от сложностей не утомительным процессом развития общественного договора и правил сожития, но лишь энергией монеты, каково бы ни было её происхождение. Снимающее социальную напряжённость разъединением и переключением внимания с лёгкостью перемигивания рубильника. Высвобождающее время для развития нравственного и коммуникативного, но используемое для развлечений, несомненно приятных после тяжкой работы, но всё же односторонних и иной раз неизвестно почему именуемых культурными. Впрочем, исстрадавшемуся человечеству в прощание по себе само лишь и остаётся, что пировать дарами возделанных полей географических и ментальных. Пиршество, посреди коего ему предъявят, что всё не только умозрительно измеримо, но, в самом деле, уже измерено и отмечено: таннер, таннер, фунт, трипенс. Более того, успешно используется вне ведома субъектов. А конвертируемы даже – нет, в первую очередь! – желания. Социальные науки уже в самом скором времени убеждённо повторяют за Стагиритом: вы есть политическое животное. Технические науки и продукты производства же довершат процесс, начав избыточную раздачу палок

в тянущиеся лапы высшего из сапиенсов. И как ни странно, это и есть чудесное завершение новообретённой чужестранной морали: хочешь накормить голодного – дай ему удочку. Как жаль, что её не подкрепляет, неприятно оттеняет факт, что носители сей мудрости удочкам предпочли трубочки. Палка – инструмент базовый и многофункциональный. Для одних – скипетр и посох, для вторых – оружие и указатель, для третьих – пресловутая удочка и рычаг, для четвёртых... что ж, лучше оставить их предпочтения суду истории и первых трёх категорий. Неутолимый голод обладания, развившийся из аппетита к познанию, ускоренный требованием владения инструментарием для повышения выработки и увеличения дозы при мнимом сокращении времени. Но сокращается лишь социальное время, а социальное пространство сплетается в узлы. Последний сверхузел будет залом пира: всё в избытке, всё доступно, но – прошедшим ценз. Последний же царь, кем или чем он ни является, принимает сообщение, проступившее на стене. Но уже не зовут толкователя: конвертируют материю и энергию в другое и уплачивают указанное, тем самым продляют текущее состояние, ощущаемое предельным, а теистическая сущность, как ни странно, принимает плату, то ли окончательно устав от детей своих, не вмешиваясь в их буйное вымирание и дегенерацию, то ли от пробуждённой искажёнными молитвами и высокотехнологичными благовониями демиургической природы. Договор, скрепляющий договоры», – плавал в пограничном тумане разум одного из временных обитателей шестого купе.

Последняя фраза, кажется, была отчасти порождена шелестом соседской газеты, от которого он окончательно пробудился, и до того на удивление неприятного, громкого и резкого, что ожидаешь таковой в зале консерватории, а то и обложенном плиткой морге, но никак не в условиях купейной акустики.

Молодая зелень лугов, проплывавших мимо поезда, совершенно не привлекала некрасиво пробуждённое сознание, не говоря уже о прочем ближайшем окружении, но его занимало соперничество путей, ведущих к месту назначения. Железнодорожное русло бахвалилось перед речным, исполняло танец, едва ли не непристойный для лицезрения широкой, неподготовленной публикой: оно то сближалось до неприличия близко, предоставив возможность любому желающему сравнить скорости их течений, то перекидывало с берега на берег простенькие, без излишеств – «так, рабочая потребность, уж извини, старушка!» – мосты, через которые играючи перелетали многотонные, шедшие на нерест, паровые махины. А где-то там иные пути, сокрытые расстоянием в десятки миль, домишками и набравшей сок июньской растительностью, петляли, вились и так же стремились к каналам и проходам, оставленным в городском фортифе, теперь уже различимом по левому борту. К тому моменту, когда река и поезд делали поворот на северо-запад, оживились уже все пассажиры и ныне, в зависимости от возраста и социального статуса, открыто или искоса, но в большинстве своём всё же вглядывались в заоконное. Однако городскую окраину нельзя было разглядеть из-за этого несчастного архаического, анахроничного земляного вала, в истории уже седьмого по счёту... «Напоминающего лелеемую, выставляемую напоказ рубцовую ткань, оставленную схваткой с чужеродными организмами, выражающую готовность сразиться вновь», – заключил наш знакомец, подтягивая пластрон кирпично-бордового оттенка, выглядящего вполне солидно, – но уж не линиялого ли? – и оправляя антрацитово-серый костюм.

В ожидании прибытия к Лионскому вокзалу – из-за городской стены всё ещё гипотетическому – часть наиболее деловитых и порядком засидевшихся пассажиров ритуально, но так, чтобы не обращать на себя лишнего внимания соседей, отстукивала каблуками, тросточками и зонтами в такт колёсным парам – прищипоривала зверя, расставляя акценты на моментах, когда казалось, что состав теряет темп. Глаза тех, что не единожды вкусили от целлюлоидного древа братьев Люмьер, выдавали в своих хозяевах мечтателей, охотников до увеселений, наверняка воображавших себя участниками уже классических лент вроде «Прибытия почтового поезда» и «Прибытия делегатов на фотоконгресс в Лионе». Последнее, впрочем, могло быть объяснено

лишь созвучием мест назначения и бессознательным – или не таким уж и «без-», памятуя о причудах прокладки трасс, – уподоблением железной дороги водной магистрали. «Если заглянуть, не обнаружится ли на дне их хрусталиков бег плёнки?» – ухмыльнулся, кладя ногу на ногу, известный нам пассажир шестого купе.

И вот, последние сотни метров пути, запечатлённые этой стихийной синематекой: справа – кладбище и городские муравейники, слева – более опрятные каменные норки и парк, а где-то за ними подразумевается речная гладь. Движение и его отсутствие, прикрываемое ходом поезда. Наконец, паровая машина окончила свой марафон. До того крепкая и мускулистая, в статике она будто обмякла, как обмякают выброшенные на берег киты, своим неестественным на суше весом раздавливая собственные лёгкие и сердце. Напоследок паровоз извергнул столь же грузные, льнущие к земле, клубы перегретой жидкости и отверз двери-жабры, из которых на платформу тотчас высыпали люди и, подобно частицам металлического порошка, устремились к незримым линиям магнетизма полей Елисейского и Марсова.

Но вот среди всего этого растекающегося по слегка напоминающей крышку рояля площади у Гар-де-Льон спешаще-растерянного людского потока можно различить задержавшуюся знакомую фигуру из шестого купе. И вновь потерять из виду: та скрылась в тени башни с часами, столь любезно прилагавшейся к вокзалу и направлением этой самой тени ненавязчиво артикулировавшей вновь прибывшим, не стеснённым неотложными поручениями, куда бы им отправиться в текущее время суток: от Монмартра бодрым утром до Пер-Лашез лирическим вечером. Последнее также намекало на то, что не стоит тратить слишком много времени, стоя на перепутье и не решаясь сделать шаг хоть куда-то: можно не успеть пожить и увидеть что-то кроме кладбища. Так размышляла фигурка в серой тройке и красноватом галстуке, разглядывая циферблат, пока её не окликнул приближающийся быстрым шагом силуэт.

– Мартин, вот и ты! Вовремя я опоздал: не разминулись. Собрался уж было входить, чтобы встретить тебя у таможни, а тут поворачиваю голову и вижу тебя здесь. Приветственно жестикуюлю, кличу и всё такое, приближаясь, а ты и не слышишь, не шевелишься. Начал было сомневаться: не мираж ли со мной приключился? Однако ж больше похоже на то, будто случился он с тобой. Так всматриваться в часовую башню...

– Ох, здравствуй, здравствуй, друг мой! Со мной, если не считать мой сон, всё хорошо. Просто избежал этой толкотни и суеты, да в ней и затеряться легче. И, как надеюсь, своей протрацией я не заставил тебя выглядеть неловко? – Его друг носил кепку, принятую к ношению у класса завсегдатаев, как это называется, тапи-франк и брассеры, пренебрегал галстуком, держал верхнюю пуговицу наивысшего качества сорочки расстёгнутой, к простому, но определённо выкроенному по фигуре пиджаку относился же без особого почтения, скорее как к домашнему халату; но вместе с тем отглаженные – наверняка этим же утром – брюки и ботинки, за состоянием которых определённо следят, не могли вызывать нареканий, – становилось понятно, что стоял на земле он крепко, чувствовал себя непринуждённо, однако его облик отчего-то настораживал прохожих.

– Это ли неловкость, мистер Вайткроу? Не позволишь разделить бремя твоей ноши? – спросил он, уже протягивая к одному из саквожей руку с указующим перстом. Настоящей дружеской неловкостью было бы отказать сейчас, прервав это фамильярное намерение, поэтому Мартин лишь кивнул, также соглашаясь следовать за другом, по всей видимости, направлявшимся к гужевой стоянке.

– Что-то я разволновался, как-то непривычно много вопросов с моей стороны, не находишь?

– Я могу тебя понять, Энрико. Какие-то из греков, – возможно, ещё до почитаемой тобой античности, – делили людей на живых, мёртвых и тех, кто в море. Девятнадцатый век добавил категорию тех, кто в поезде. И даже факт прибытия на вокзал не гарантирует, что путешествие закончится благополучно, что оно вообще закончилось. Кто может поручиться, что

этому стальному зверю не захочется, к примеру, вырваться из упряжи, за пределы вокзальной клетки и её ажурных железных силков-опор, выяснить, куда это разбредаются перевезённые головастики, ради чего вся эта беготня, а в итоге – пробить кладку, на мгновение стать нелепым воздухоплавающим и своим глупым толстым лбом придавить несчастную, ни в чём не повинную цветочницу, ощутив среди прочих запахов катастрофы тонкий аромат полевых цветов, неестественных для самого города, но коих полно по пути сюда.

– А ты в своём репертуаре! – спустя пару секунд одобрил Энрико, слегка растянув начало фразы, хотя определённо жаждал как-нибудь остроумно парировать.

– Ну да, стоило-то всего лишь пару минут – я надеюсь, что пару – помедитировать перед циферблатом.

– Итак, как отметим приезд?

– Сегодня бы мне хотелось просто где-нибудь тихо разместиться, а пыльные знакомства, высокие градусы и жаркие тосты отложить на недельку.

– Хорошо, но как изволите это понимать: «где-нибудь»? Тебе отведена одна из упомянутых в письмах, хм, инвестиций в недвижимость. Ты мой гость, никаких скромных отелей и коммунашек, в которых тебя поглотит меланхолия, и, захирев, ты в один из дней в приступе предчувствия скорого конца выпалишь что-то вроде: «Либо я, либо эти мерзкие обои!» – Энрико был доволен тирадой, а её завершение вполне могло сойти за нокаутирующий апперкот.

– Ладно-ладно, – усмехнулся Мартин, – не буду дичиться и противиться приглашению, уговорил, хоть и не уверен, что сейчас сезон, когда душевные недуги торят дорогу телесным.

– Только не вздумай проверять эту гипотезу.

– Намёк понят.

Друзья выбрали себе транспорт. Энрико назвал вознице открытого фиакра – что ж, обзор будет чудесным – адрес, который отличался от известного Мартину, пристраивавшему дорожные сумки, а также указания о маршруте, от которого извозчик, рассчитывавший на более короткие заказы, не был в восторге. По завершении приготовлений четвероного-четвероколёсный транспорт тихонько покатился в направлении Лионской улицы.

– У тебя какой-то задумчивый вид. Что-то забыли взять с собой? Всё мои вопросы. Стоит вернуться?

– Нет-нет, но, кажется, я хотел что-то увидеть или о чём-то пошутить... Ах, да! Говорят, местные жители, несколько столетий *паризитировавшие* на катакомбах и шахтах под городом, наконец-то обзавелись метрополитеном, а одна из станций должна быть в районе этого вокзала. Однако ж момент упущен, не бывает анекдоту.

– Линию откроют ещё только через десяток недель, но тебе повезло: мы поедem, какое-то время повторяя её маршрут, – ответил он, довольный плодами своего спора с кучером. Последовала недолгая пауза, затем Энрико, поймавший волну, рассмеялся: вот он, шанс отыграться!

– Что такое?

– Мне только что открылась природа твоей внезапной забывчивости: *l'esprit d'escalier*, лестничный ум! Угадаешь, чьё имя носит бульвар, который мы только что пересекли?

– До чего, в самом-то деле, злая ирония. Нельзя так шутить над теми, чьи занятия и интересы не умещаются в одном городе. Прямо у вокзала, надо же.

Экипаж же вырвался из-под власти лионской топонимики и ныне огибал Июльскую колонну вдоль одной из условных радиальных линий площади Бастилии – волн незримого озера революционной крови, снабжённого ныне изящным ареометром-на-костях авторства Дюка. «Что же будет, сдвинься он и в самом деле?!» – невольно сглотнул мысль Мартин. «Гений свободы» Дюмона стремился к западу города, в том же направлении и знакомый фиакр выруливал – скорее, скорее отсюда! – на рю Сен-Антуан, плавно сливавшуюся с Риволи. Начиналась, можно сказать, торжественная часть урбической инициации, подстроенной Энрико. Мартину предстояло впитать дух обновлённого города эпохи Выставки, для одних всё ещё лицемерного

и лживого, для других – диктатного, а для кого-то – вполне пригодного для безопасных прогулок, полных светлой грусти вперемешку с восхищением. «Фланировать, как Бальзаку и не снилось», – таковое желание помимо прочих изъяснил Мартин в своём письме, чем несколько смутил адресата, который знал мистера Вайткроу как человека хоть и романтического и увлекающегося, но всё же не праздного в деловом отношении, и списал это на простую потребность в отдыхе, стремление сменить обстановку, а также расчёт на указанную ранее реакцию.

Возможно, маршрут не был насколько уж и идеальным именно для церемонии посвящения... Ох, что уж там, Энрико можно, должно и следует обвинить в язвительности, а то и оскорблении вкуса. Однако целью поездки всё же было не охватить все необходимые или причудливые места и узлы, что невозможно исполнить за одиночный маршрут, но добраться до апартаментов и в пути задеть по касательной силовые поля, позволить хотя бы некоторым важным, пускай, по сути, и до тошнотворности помпезными и назидательными архитектурными эфирам впитаться в ткани. И потом, барон Осман питал большие надежды в отношении той же рю де Риволи – декумануса правого берега, так почему бы и путнику не предаться набегающим от неё – всё с большим напором по мере увеличения адресных цифр – волнам успеха, борьбы и победы определённого жизненного уклада, настроиться на ритм центральной части города?

И вот уже далеко позади них квартал Марэ и иезуитски-барочный фасад Сен-Поль-Сен-Луи, восхитительно сплавивший итальянское, французское и голландское. Впереди выплывал своим северо-восточным углом Отель-де-Виль, для Мартина невольно вторивший идее Вестминстерского дворца о воссоздании властного облика из предыдущих веков, внушающего должное почтение и отношение. Стены мэрии пожертвовали частью бесполезной толщины ради усиления и защиты конструкции нишами с помещёнными в них статуями исторических деятелей, не всегда представлявших политическую или военную власть – но прежде искусство, литературу, право, науку и предпринимательство, в том и мощь созвездия образов; своего рода секуляризированная версия приёма, использованного и для башни Сен-Жак, нового маяка на маршруте и сборной точки для паломников, следовавших по пути к могиле Святого Иакова в далёком Сантьяго-де-Компостела.

Для наших же путников башня и сквер – свято место цеховой церкви осталось пусто – наоборот означали смену направления (должно быть, приплаченной Энрико суммы хватило лишь на такой крюк), уход из-под влияния Риволи, краткий приглушённый гул Севастопольского бульвара, лёгкую электростатику театра Шатле и плоскость моста Менял. Колёса коснулись земли острова Сите – городского ядра, клеточная ткань пространства которого ныне в большинстве своём отдана под строения и нужды сплава структур, имевших целью правовое, физическое и духовное исцеление нации – или же, с точки зрения представителей радикально настроенных социалистов, репрессивных, воплощавших аппарат подавления; в случае Отель-Дьё, вероятно, – неврологическим отделением. С моста Сен-Мишель фиакр проследовал на одноимённую площадь и прикреплявшуюся к ней рю Дантон, которая сливалась с бульваром Сен-Жермен, по нему проплыл до пятилучевого перекрёстка близ Сен-Жермен-де-Пре – и потерялся из виду, растворившись во множестве потоков, многослойной сетью пронизывавших аррондисманы, с тем, чтобы вновь обнаружить себя на одной из улиц несколькими кварталами далее.

И вот место назначения: одна из всё тех же османовских инсул о семи этажах. Скромная солидность протяжённого песчаникового фасада, прикрытого от дороги липами в половину его высоты. Пунктирные антиколонны оконных проёмов, в ясный день разбавляющих бежевый монолит фасада голубыми линиями, а на рассвете и закате румянящие его оранжево-розоватыми оттенками. Два ряда железных подвязок, одна из которых проходит по бельэтажу и больше символизирует ограду, а вторая – по этажу ниже мансардного и служит утешительным комплиментом за экономность отделки на этом уровне, а также создаёт иллюзию уплотнения и мнимого сужения, переходящего в выпуклый жилой чердак.

- Императив, – резюмировал Мартин.
- Категорический, – подвёл черту Энрико.

Карман возницы приятно припух; лошадь одобрительно фыркнула, но вместе с тем постригла ушами, словно намекая пересчитать полученные деньги; извозчик косо на неё взглянул, издал утробный звук, похожий на «oui-oui»⁸, пошевелил пальцами в кармане, буркнул, причмокнул своей пегой кормилице и повёл к северу, на Орсе.

Буржуа-ориентированный первый этаж отдан под ресторан à prix fixe⁹ и аптеку таким образом, что заведение фиксированных цен расползлось из угла дома и, как пояснил Энрико, за умеренную плату избавляет жильцов и всю день напролёт хлопочущую и празднующуюся округу от необходимости не только готовить еду самостоятельно, но даже и думать, *что* бы съесть. Что до аптеки, то хоть она и кажется слегка зауженной, однако при этом, – продолжал он объяснять, – её владелец арендовал добрую половину этажа-антресоли, где оборудовал нечто вроде фармацевтической лаборатории и мастерской для изготовления рецептурных суспензий, эмульсий, порошков, настоек, масел и всего того, что в процессе изготовления явно пахнет покрепче какой-нибудь полуготовой рыбы или маринованного лука. К счастью для окружающих, дом был избавлен от одорического проклятия, выражающегося в том, что из-за особенностей перекрытий и вентиляции все соседние помещения по вертикали и горизонтали от источника запаха пропитывались характерными, далеко не всегда аппетитными ароматами, что на удивление часто бывает в подобных домах. И ведь как избавлен – усилиями обладающего новаторской жилкой аптекаря. Он предложил сконструировать простенькую, с минимальными потерями для интерьера, систему вытяжек, попрытав трубы по углам, а на концах расположить по прокладке, набитой специально обработанным углём. Примечательно, что уголь предоставил проживающий на бельэтаже промышленник, проявляющий интерес к созданной технологии. Теперь, кажется, дело шло к спонсированию патента. Так этот город и живёт.

Остальных жильцов Энрико знал не так хорошо, да и в краткие моменты пересечений не заметил за ними ничего любопытного. Но нет сомнений, что приметил бы, ведь он вновь поймал и скользящий по дорожным сумкам взгляд Мартина, и гасящую лишние колебания напряжённость несущей поклажу руки. Прикусил губу, укорив себя за то, что не подумал о возможной хрупкости груза, когда при встрече подхватил саквояж: там ведь наверняка не только одежда, но и какие-нибудь милые сердцу безделушки и агрегаты. Напомнил, что им нужен шестой этаж. «Не в экономии дело, но в виде!» – продекламировал он, отворяя дверь.

Пред Мартином предстали две весьма компактных комнатки, последовательно соединённые коридорчиком. Первая, по всей видимости, отводилась для дел, предполагающих сидячее положение тела, а вторая – стояче-лежание, не подразумевая промежуточных положений, разве что на краю кровати. Хотя, в общем-то, обе приглашали расслабиться, помечтать, возможно даже, шопенгауэровски погрузиться – всё благодаря монотонно выкрашенным стенам. Какой-то тёплый и густой оттенок тёмно-голубого, но не циан и не один из сизых, считаемых в эмблемах американской «лиги плюща». Возможно, это и есть подлинный греческий *υἰαύκος*, именно это определение отчего-то рисует воображение для описания. Энрико был верен себе – и, несомненно, тосковал. Диван и кресла первой комнаты, стоявшие на голом тёмном полу, обшиты серебристой обьярью с неясным рисунком и выполнены, кажется, из берёзы, как и приставленный меж ними столик и расположенный в углу противоположной стены шкафчик для книг и бумаг, вряд ли составлявшие единую гарнитуру с означенными предметами мягкой мебели. На каком аукционе всё это приобретено? И ведь явно в едином порыве. Потолок был светло-серым, но не от хозяйской лени или копоти, но для придания общему цветовому решению большего спокойствия. Таким образом, получалось, что немногочисленная мебель была ярче и реальнее границ заключавшего её пространства, выступала акцентом, а сами плоскости, за исключением пола, будто размывали глубину и дальность, а при нынешнем освещении – полдень только близился – создавали эффект дымки. Подобное цве-

товое решение было выбрано и для второй комнаты, в которую были помещены также светлые берёзовые платяной шкаф, комод и простая кровать.

В атмосфере апартаментов явна была какая-то магия отчуждения, но она пока не действовала на Мартина и тот слегка засомневался: возможно, желтушные обои в цветочек были бы и лучше. По возникшей особого рода тишине Энрико уловил мысль друга и с лёгкой улыбкой сообщил:

– Да, это и в самом деле не квартира для круглосуточных посиделок, а просто тихая гавань, пристанище от штормов дневной суеты. Ну, и поразмышлять в гордом одиночестве.

– Это я, пожалуй, оценю, – подбодрил гость, но подумал: «С мебелью-то из древесины, столь подверженной загниванию?»

– Но всё же тебя уверяю, что особенно надоесть квартирка тебе не успеет. Так что если вдруг захандришь и подхватишь студень – до чего ж англичане лелеют это слово! – это будет проявление французского насморка.

– Как можно?! Пошляк вы этакий, я благочестивая девушка!

– О, миледи, я заверяю вас в своём благородстве, и потому прошу принять вас предложение расположиться в сих покоях и распорядиться ими, как собственными.

– Спасибо, Энрико, мне бы и в самом деле сейчас не помешала тишина на несколько часов – сон в поезде не сон, а какой-то противный дурман.

– Как угодно. В таком случае, я воспользуюсь возможностью и завершу кое-какую писанину в редакции, а на обратном пути захвачу что-нибудь из харчевни внизу. И чуть не забыл, держи ключ.

Стоило только двери захлопнуться, и Мартин буквально на рефлексх снял пиджак и аккуратно повесил на спинку стула, расстегнул жилет, подхватил сумки, прошёл в дальнюю комнатку и задвинул поклажу под кровать, на которую мгновение спустя бесцеремонно рухнул. Голова слегка кружилась – кажется, со скоростью секундной стрелки. Мысленно подстроившись под темп и замедлив его, смог на пару часов заснуть. Просто провалиться в темноту, выключиться из окружающего света. Но и того было достаточно, чтобы освежиться к предстоящему вечеру. И надо бы разобрать поклажу.

Мало городу одной внешней мембраны фортифика, так на въезде поджидает ещё один фильтр в лице октруа – чиновников вокзальной таможни, подготовленных к летнему наплыву гостей, ещё не выдохшихся, не удовлетворяющихся простым устным заверением в дозволенности предметов багажа, а в целом же сколь деликатных, столь и дотошных в своём намерении собрать пошлину за ввоз определённых предметов. Инспектор, не обнаруживший у Мартина того, что по обыкновению подпадает под обложение, то есть съестных припасов и напитков, отчего-то решил проявить настойчивость и, довольно бесцеремонно запустив руку в кожаное нутро сумки, выудил оттуда прямоугольный стеклянный контейнер с чем-то белёсым внутри: не то паста, не то... «Помада», – подсказал Мартин. Должно быть, инспектор принял его засаленную от путешествия, но уложенную шевелюру за доказательство тому, свидетельством чего Мартину послужило полученное в ответ стиснуто-фыркающее: «Франт, а помада-то ваша уж и без жары в своём соку плавится». Ретивость, напоенная и попотчеванная ехидством и ощущением чужой неудачи – вот с них бы, до того пьянящих, пошлины брать, – наконец-то была удовлетворена, и фигура из вагона номер шесть превратилась для города в мистера Вайткроу.

«Помада, конечно. В своём соку, как скажете», – Мартин повертел в руках тот же контейнер, проверил упакованные в махровую ткань запаянные колбочки с аналогичным наполнением, не замеченные при досмотре, а затем поместил обратно на законные места. Также провёл осмотр самого саквояжа: плечи, пружины, каркас, кожа, прочее содержимое – всё без повреждений. Вторая половина багажа, преимущественно с бельём, тоже благополучно пережила странствия. Вряд ли что-то могло случиться, но нахлынувший прилив педантизма принёс дополнительную каплю успокоения и вернул ощущения контроля над собой и действитель-

ностью. Нет, власти Двадцати округов, их уносящему течению он отдастся позже и на своих условиях.

По приходу, Энрико предложил открыть окно первой комнаты настежь и придвинуть к нему стулья, дабы во время трапезы филе дорады с соусом песто под белое вино – что ж, незатейливо, зато сытно – иметь вид, недостижимый для наземных кафетериев и ресторанов.

Так за дружеской беседой о всём и ни о чём, синхронизирующей их сознания и мироощущения, за улыбками и шутками, за сплетнями и спорами, летели часы. И вот, неожиданно для них разыгрался позднемайский закат: уже почти летнее, плодоносное Солнце налилось цветом и ныне, сочившееся мёдом, обливавшее им дольний мир, грузно клонилось к горизонту.

Обзор снизу несколько ограничивал пятиэтажный дом напротив, экстерьером несравненно более простой и вдвое старше соседа. Но всё равно можно было оценить разбегающееся по нерегулярной решётке многообразие городских обиталищ, чьи гребни крыш в тонах, даруемых наплывавшим закатом, приобрели любопытный неясный оттенок. «Винноцветный», – вырвалось у раздобревшего Мартина, разглядывавшего какой-то сектор через призму бокала и пожалевшего, что ляпнул подобное. Впрочем, Энрико кивнул, выражая согласие, – магия начала действовать. Не мог Мартин не отметить и сочетание порыжевших стен и тенаровой сини крыш, в закатных лучах и впрямь ставших мутно-фиолетовыми: «Такое должно нравиться невротикам», – подумал он, припомнив описание интерьера из одной известной книги без интриги.

Пришла очередь игристого и взглядов вдаль. Только сейчас ум, раскрепощённый и способный мыслить масштабами мечтателей, распознал источаемую мощь пламенеющего, будто в память о славных жертвах, золота, что покрывает купол Дворца Инвалидов, и матового отсвета ажурного скелета башни, что зовут Эффелевой. Мартин повертел в руках одну из бутылок.

– Не понимаю недовольства местных. Неужели они до сих пор не находят, что она похожа на бутылку игристого? – повёртывал он в правой руке, как державу или увесистое яблоко, бутылку означенного. – Особенно с утолщением у вершины. Это же идеальный венец работ модернизации города! Рискнули и выиграли. После всех проложенных Второй империей тоталитарных горизонталей... Горизонтальных тотальностей? Или тотальных горизонтальностей? Ну, ты меня понял. В общем, Третьей республике нужна была какая-то притягивающая и стягивающая вертикаль. Понимаешь? Что-то в иной ориентации, затрагивающее иные плоскости, иначе организующее пространство.

– Через месяц-другой метрополитен начнёт свою работу – чем не альтернативная горизонталь, недоступная режиму Баденгэ?

– Да, конечно, это тоже, но она, во-первых, появляется слишком уж поздно для подобной манифестации, а во-вторых, считаю, что возврат республики к горизонтальному мышлению это своего рода тревожный симптом. И нет, колонны или арки посреди площадей тоже не подошли бы, они прочитываются иначе, да и все военные триумфы уже запечатлены. Резурекция столпов, растерзанных коммунарами – опять-таки нет, реставрация с целью инкорпорирования суть другое. О живущий в этом городе, только взгляни на эти сходящиеся... м-м-м, как же геометрически корректно называются эти кривые? Или так и называются?

От необходимости вспоминать и угадывать Энрико избавило то, что Мартин отвлёкся на нечто неестественное для его сознания. Небо за силуэтом башни Эффеля медленно пересекал, поигрывая алыми оттенками, напоминающий пухлую сигару объект с выпяченным брюхом, размерами сопоставимый с самой башней.

– Энрико... Кажется, ты не рассказал мне что-то важное. Что это ещё такое?

Дирижабль «Александр II Освободитель», единственный представитель проектного класса «Серафим», завершал уже обыденный для него моцион над центральными округами, проплывая севернее Трёхсотметровой башни в направлении Булонского леса. Если точнее – близлежащего ипподрома, ставшего для него посадочной площадкой. Вокруг новой городской черты только д'Отёй и подходил на роль базы обслуживания. Французское правительство без особых возражений пожертвовало ипподромом, главное спортивное событие которого – конная программа Олимпийских игр, также проходивших тем летом и в которых, мягко говоря, не видел особого смысла главный комиссар выставки Пикар, была перенесена на ипподром Лонгшам, в Венсенский лес и седьмой округ на Марсово поле, для чего последнее на три дня подвергалось небольшой модификации, главным образом означавшей расстановку препятствий для конкурра. Особый колорит эквестрийским соревнованиям придавало расположение временной арены: кони и их наездники демонстрировали свои умения в окружении дворцов технологий и машин, по отношению к которым уже второй десяток лет официально не применялось сравнение мощности лошадиными силами, мерой в техническом отношении иносказательной и слегка лукавой, некогда введённой Джеймсом Уаттом в рекламных целях, и заменённой на более строгую единицу, названную в честь самого парового гения.

И сейчас шесть работающих на нефтепродуктах оппозитных двигателей эксплуатационной мощностью по четыре сотни киловатт каждый производства предприятия Огнеслава Костовича несли громаду «Александра II Освободителя» на постой для планового пополнения ресурсов – необходимых для движителей и человеческих. Машина была требовательна. И ведь она лишь одна из флотилии! Младшие братья – проектного класса «Херувим» – ревнивы, более активны и капризны, в том числе и по причине применения в них иной конструкции. Тысячи компонентов, сотни расчётов и соотношений – всё требовало внимания ради изящества, лёгкости и комфорта, каковые ныне присущи полётам на русских дирижаблях.

Не проще и с логистикой, потребовавшейся для нынешней дислокации в д'Отёй. Вспомнить отправившие в медвежью спячку не одного клерка многометровые декларации о затребованных и полученных деталях и веществах для общего их подготовительного складирования. Или сами особенности складирования и хранения с соблюдением надлежащих сроков: части материалов нужно отапливаемое помещение, какие-то баллоны и сосуды наоборот лучше держать не только подальше от тепла, но и вне закрытых пространств, на уличном холоде (работы начались ещё в конце февраля), либо же на уличном холоде, но не под солнечными лучами. Или последующую погрузку на товарные составы.

О да, здесь следует сделать реверанс паровозам и железным дорогам, стратегическое значение которых вряд ли будет присвоено дирижаблями в ближайшие годы, а то и десятилетия, даже если серийное производство воздухоплавающего судна-транспортника всё-таки будет одобрено, и проект получит развитие. И потом, наземному – паровому, дизельному, бензиновому и, без сомнений, электрическому – транспорту на Выставке всё же отводится гораздо большее значение в силу практических и финансовых причин. В особенности, если учитывать заявленную в последний момент для русских павильонов тематику: внутреннюю колонизацию, переоткрытие ресурсного богатства малозаселённых земель, – то устройство железнодорожной сети суть назначение векторов развития и освоения, материальное доказательство серьёзности намерений. Дирижабли же хороши для воздушной разведки просторов и быстрой малотоннажной переброски, а в рамках Выставки, стоит признать, они по большей части суть рекламный ход с ограниченным финансовым предложением, призванный поражать воображение.

И вряд ли кто-то мог подумать, что первым делом они поразят воображение их создателей, обслуживающего персонала и администраторов. Поразят, заклинят и закоротят. Начисто, насквозь и напроочь. Перечень работ, материальной номенклатуры и разбивки по этапам был таков, что потраченные на запись бумажные листы можно было бы пустить на папье-маше и изготовить из него корпус для нового «серафима». Или скормить паровозной топке и без

остановок домчаться до самой Франции. Утрирование, конечно, но стальной караван, отправившийся в центр Европы, был вполне сопоставим с предшествовавшими ему, которые перевозили будущее содержимое выставочных павильонов. Из привезённого вполне можно было, как кажется, собрать ещё один, а то и два полноценных «херувима». Но чтобы их собрать, нужна площадка, а её тоже предстояло собрать практически с нуля своими силами; все требования к ней французской стороне известны не были, ипподром арендовался под условия дружбы наций и честное слово вернуть его в состоянии не хуже прежнего, ремонтные работы и объявили официальной причиной временного закрытия, заставив любителей конного спорта искать места в пригородах. И пока возводились фермы простеньких ангаров и крепились стыковочные штанги, с сортировочных платформ в восемнадцатом округе, а иногда и с вокзалов в десятом, гужевым транспортом доставлялись, насколько возможно тихо, запчасти и ёмкости.

Мир далеко не первый десяток лет знаком с аэростатами и парением, но – управляемый полёт, позволяющий пренебрегать границами и особенностями ландшафта? Реализацию этой возможности следовало подать сколь эффектно, столь и осторожно. Человек научился подниматься выше уровня земли, строя высотные сооружения и используя их в повседневности, уже пятый десяток лет он способен оторваться от неё, зависая в сотнях метров ради своих исследовательских или художественных, как у Надара, целей, тем не менее, в большинстве случаев будучи связан с поверхностью канатом. Однако не только подниматься ввысь, не преследуя при этом научных или ритуальных интересов, но потехи и коммерции ради; перемещаться, контролируя направление, скорость и высоту, скрываться за горизонтом – в этом была определённая мировоззренческая опасность. Эмоции публики будут ярки, но кто даст гарантии, что во свету не зародится искра, которая сожжёт святотатственную машину. Кто знает, какие претензии и идеи возникнут и будут подхвачены на невротической волне? И это не говоря о новом этапе гонки вооружений, подразумевающей контроль над воздушным пространством. Но факт остаётся фактом: дирижабли были приняты воодушевлённо. И чем больше слухов доходило по мере их приближения, тем большим был ажиотаж.

Несколько дней назад состоялось торжественное открытие Всемирной выставки, однако русский павильон близ дворца Трокадеро ещё был закрыт для посетителей. Кроме того, как заверяла афиша над центральным входом, предполагалась отдельная церемония, которую уважаемым посетителям никак нельзя пропустить в свете её грандиозности. Этакая оказия с задержкой случилась не из-за разгильдяйства на стройке или халатности заведующих отделами, как можно было бы подумать, но по причине известного к тому моменту опоздания флотилии ввиду погодных условий и лишних суток в Польше, потраченных на приготовления к беспосадочному перелёту «херувимов» сквозь берлинскую лазурь неба над Германским рейхом. Перелёт удался, однако «серафим» сделал значительный крюк, взяв южнее, и продефилировал над участком тройственной границы между Баварским королевством, Австрией и Швейцарской конфедерацией – то есть над Боденским озером. Как разъяснили экипажу, – чтобы подзадорить конкурентов из группы графа Цеппелина, готовивших в тех краях свой летательный аппарат к пробному полёту. Было решено не возвращаться в германское воздушное пространство, а проплыть над кантонами до французской границы, попутно сделав серию восхитительных фотоснимков местности по специально разработанной методике Прокудина-Горского (то же самое по возможности делали и остальные экипажи), после чего двинуться на северо-запад и в ночи подойти к пункту назначения по дуге со стороны Мёдона.

Краткий отдых и сон, а на заре – последние проверки и инструктаж. «Александр II Освободителю» большую часть времени надлежало величаво парить над городом, деятельное же участие отводилось его сиблингам, в особенности «Великим реформам» – одному из четырёхмоторных «херувимов». По сути, именно он – настоящий «херувим», прототип грузового дирижабля с уплощённой, более широкой гондолой, в связи с чем его оболочка, выкрашенная в сизый, приобрела в разрезе вид пухлого треугольника; остальные же, – также о четы-

рѣх моторах, но более компактные, – формально представляли подкласс «Офаним». Однако этот авраамический термин обнаруживал себя лишь в базовой документации и не имел свободного обращения за пределами конструкторской лаборатории и офицерских кругов Воздушного флота по тому разумению, что, как подсказали руководителям проекта, более известны последователям Талмуда, нежели христианам, в ангельской иерархии которых херувимы и офанимы практически не разделяются из-за их функционального сходства, описанного в Ветхом Завете, – то есть из-за опасений, что употребление «слишком иудейского» обозначения могло бы вызвать неприятие и отторжение у неразборчивых представителей правых взглядов на барашке очередной антисемитской волны. А это, в свою очередь, ставило бы под вопрос коммерческий успех предприятия: именно «офанимы» ограниченно предлагались к заказу как частным лицам, так и представителям государства; при этом за французским правительством уже было зарезервировано два существующих экземпляра, которые надлежало передать в его распоряжение осенью того же года, а в отношении прочих заказчиков предполагалось строительство только новых аппаратов с учётом персональных требований.

На деле, это был весьма продуманный шаг, решавший несколько важных, стратегического масштаба, вопросов. Во-первых, он одновременно и следовал фритредерской тенденции, предоставляя доступ к новейшим технологиям всем желающим, и создавал дополнительный временной лаг, пока заказы выполняются на выделенной и контролируемой в плане производительности линии, в течение которого Российская империя, для которой морской вопрос всегда был болезненным, завершит основную фазу наращивания воздушного флота. Во-вторых, также используя время ожидания, надлежало подготовить несколько баз технического обслуживания: не в Россию же заставлять летать для дозаправки газом и дизельным топливом или мелкого ремонта и санитарных процедур; причём расположить базы следовало в таких точках, которые бы отвечали и требованиям клиентского сервиса, и потенциальным военным нуждам. В-третьих, следовало в кратчайшие сроки завершить всю патентную рутину и, по мере накопления практического опыта, внести корректировки в некоторые конструкционные решения – у дирижаблей впереди долгая эволюция.

В соответствии с графиком за «серафимом», вновь взмывшим в небо, на ипподром поочерѣдно садились для пополнения запасов и вновь с него взлетали «херувим» и «офанимы». Каждый следовал своим курсом над городскими кварталами так, чтобы любой житель, оторви он или она взгляд от повседневных дел либо же просто при случае темпераментно возведи очи горе, мог увидеть хотя бы один. Флотилии предстояло воссоединиться уже над Марсовым полем, а её появление должны были предварительно огласить перед почтенной публикой, сопровождая зазывную речь пояснительными комментариями о характере воздушных манѣвров и последовательности событий. Собиравшимся также было сообщено, что «по географическим причинам» представление, без ущерба в зрелищности, в дальнейшем раздвоится: приветственная речь русской делегации состоится у Шато д'О, а по её завершении в два часа пополудни официально, с особой помпой откроется и русский павильон у Трокадеро, поэтому гостям Выставки предстоит либо избрать для себя приоритетное направление, либо немножко позаниматься физической культурой.

Старшие воздушные акробаты степенно выписывали фигуры, приняв за центральную точку башню Эффеля: дирижабли сходились и расходились, подставляя зрительским взглядам то брюшину, то бока, разыгрывали сцены, подсмотренные из истории морских баталий, раскручивали воображаемый маховик, удаляясь друг от друга, и вновь сжимали небесную пружину, ощутимую бегавшими по коже мурашками и разлитым в воздухе волнением, а кому-то казалось, что и Трёхсотметровая башня постанывает, вот-вот готовая скрутиться. В небесную карусель вбегали малые дирижабли, наряженные в белое, овечками перепрыгивали через гигантов, крутились вокруг них, поддразнивали их резвыми петлями и уклонами, подныривали и взмывали, вили узоры и танцевали. Ужас и грация сплелись тогда. И только когда настало время

приземляться, в толпе на Марсовом поле заметили переговаривавшихся по-русски людей в униформе, окружавших странные приспособления на станках, установленных на чудных само-движущихся платформах, появившихся по сигналу, которым служил не весьма условный хро-нометраж представления, а знак в небе: дирижабли перешли от забав к парадным построениям, напоследок выстроившись в небе довольно плотными прямоугольниками, которые складыва-лись в триколор сперва российский, а затем и французский.

Отсалютовав обоим флагам, ответственный за швартовку персонал принялся за прице-ливание по специальным стыковочным гнёздам в корпусах платформ. По команде глухо грох-нул салют пневматических пушек, выехавших из корпуса «херувима», и с неба низверглись хитро загнутые стыковочные крюки, влетая в те гнёзда и схватываясь за внутреннюю механику сцеплений. На платформах заработали установки внутреннего сгорания, источая подле себя масляный запах. Особо наблюдательные зрители при этом могли заметить, что в нижней части гондолы зажглись лампочки, порой перемигивавшие с синего на оранжевый по мере работы лебёдки: по ним причальные расчёты регулировали скорость сматывания тросов. Четверть часа потребовалась на всю процедуру, чтобы плавно и без перекосов притянуть «серафима» к поверхности в весьма ограниченном для его габаритов пространстве. Впрочем, публику просили не расходиться и не прижиматься к строениям вокруг, так как «Великие реформы» остановят движение в сорока футах от земли. Тем не менее, в массах произошло некоторое движение: очутиться прямо под машиной в основном отважились лишь также невесты откуда взявшийся почётный караул и бравые усоносцы – гражданские франты или же военные в уволь-нительной – со своими экстатическими спутницами; большинство детей, рвавшихся под самую тень, создаваемую аппаратом, увлекли за собой дамы, составившие плотное кольцо по пери-метру корпуса.

Корма судна, под фанфары, разверзлась: люк откинулся параллельно земле, из потолоч-ных перекрытий выкатили рельсы, члены экипажа в уже знакомой униформе резкими и ско-рыми движениями подцепили свисавшие с рельсов канаты к ушкам на люке, потом проделали отточенные тренировками манипуляции с нижней частью люка, прикрепив к нему ещё пару канатов и расцепив его с полом, проверили крепления и построились вдоль борта, дав дорогу нескольким людям. Те расположились на новопревращённом лифте и двинулись вниз на десять футов, Иовами проповедующими выйдя из чрева газо-механического зверя, вскидывая руки в приветственных жестах. Вслед им из корпуса потянулся угольный микрофон, нисходящую делегацию могли видеть все собравшиеся. Повисла тишина, замерла толпа, стих ветер. Пару мгновений спустя вновь запустила движение акустическая волна, шедшая из громкоговорите-лей на дирижабле.

Оживив окрестности пущенным звуковым разрядом, пожелала доброго дня всем собрав-шимся фигура – это был директор Департамента торговли и мануфактур Ковалевский, уже второй раз возглавлявший комиссию по подготовке русских отделов. Подле него по правую руку стояли генеральный комиссар князь Тенишев и главный архитектор Мельцер. По правую же одиноким утёсом высился Менделеев.

Ковалевский от всей души приветствовал гостей Выставки, представился сам и пред-ставил других, благодарил французские власти за оказанную поддержку, надеялся на дружбу наций, обещал, что Россия удивит всех и каждого, немного рассказал о процессе подготовки к Выставке. Старик Менделеев, не являвшейся членом российской делегации, но занимавший должность вице-президента Международного жюри, провозглашал новое светлое столетие, где каждая нация привносит свой вклад в мировое благополучие, где реализуется во благо весь интеллектуальный потенциал человечества. Князь Тенишев напомнил о структуре и содержа-нии отделов, о всеохватности представленных материалов и о стремлении составить достой-ную конкуренцию другим странам по части привлекаемого внимания и возможностей – в том числе и «вот этим чудом воспарившей инженерной мысли». Мельцер отметил, что самодвижу-

щиеся аэроскафы – или же, используя корень из дружественного французского языка, дирижабли – будут доступны для посещения и даже коммерческого заказа всем желающим уже с этого часа. («Найдись на то смельчаки», – вставил Ковалевский, воспользовавшись паузой, чем изрядно повеселил усачей внизу.) Для этого следует либо пройти к набережной, где организованы трапы к пришвартованным воздушным судам и информационные стенды, либо ко Дворцу Трокадеро на том берегу, где не только может быть обнаружен один экземпляр, но и через несколько минут состоится открытие Павильона русских окраин, соцветием собранных в нём предметов которого он особенно гордится, не принижая значения архитектурных решений, использованных при возведении остальных павильонов и демонстрируемых в залах. Ковалевский произнёс прощальные слова и также пригласил всех в русские секции, сопроводив слова мягким жестом; люд последовал совету, восхищённый не столько речами, сколько невесомым монстром над головами.

Пока толпа покидала площадь, лифт двинулся наверх и вновь превратился в открытый люк, а сами «Великие реформы» возобновили спуск, направляемый на подставленные снизу крепления. Наземный почётный караул, похоже, не был проинструктирован должным образом, а потому какое-то время смешно суетился, подгоняемый выкриками на русском. Из Дворца электричества к «Великим реформам» двинулась группка французских чиновников и учёных в сопровождении дипломатов, её члены немного помялись и поёжились, стоя у кормы, но всё же взошли на борт. За этим последовал приказ отдать швартовы, и дирижабль с почётными гостями на борту аккуратно, втянув обратно причальные хоботки, поднялся над территорией седьмого округа с заложением виража так, что со штирборта можно было какое-то время наблюдать происходящее на территории шестнадцатого.

Народ предвкушал. Нужный настрой поддерживался любопытной оркестровой аранжировкой. В кульминационный момент ширма, закрывавшая фасад павильона, по всей своей площади сперва покрылась испариной, а после и вовсе начала источать туманчик. Собравшиеся слегка заволновались, вопрошая: не пожар ли. Туман стал гуще, влага от него стала явственно ощущаться первыми рядами. Воздух, как в знойном мареве, задрожал, размывая картинку впереди. А затем ширма растворилась, будто её и не было. Из чего она вообще сделана? Была ли она? И из чего сотворено открывшееся за ней? Не мираж ли? Нет, всё было реально. Но вместе с тем и странно. Да, это было ожидаемое подражание кремлям – Московскому и Казанскому. Однако в пустотах меж башен не было видно дневной голубизны, с ней было что-то не то: небосвод застилал причудливый синтез в обход готики, барокко и неоклассики. С башнями соперничали взмывавшие в небо, начищенные до блеска, искрящие промышленные трубчатые контуры металлоконструкций, сплавленные с коренастыми грозными сфорцианскими чертами кремля. В них отражались, преломлялись, искажались, расщеплялись и умножались белокаменные грани; а теперь в их кривых зеркалах растворялись и плавились люди. Шипами аркбутанов и отводных каналов впивалась сталь в камень плоскостей и граней. Металлические патрубки, штыри, иглы, трубы и клапаны завершали шатры, пробивали скаты крыш, натягивали и кололи поверхности, неспособные избежать их, пронизывали стены, подменяя ряды ласточкиных хвостов. Сложные схемы соединяли сооружения на различных уровнях, обвивали кладку, душили строения, бежали по фризам вместо изразцов. Штампованное железо крыш, кажется, было готово совершить предательство, примкнув к родственным конструкциям. Создавалось ощущение, что золото двуглавых орлов, где они ещё были уместны, – и то должны были заменить не меньше, чем столбы фигурно извергнутого пламени. Кремлик подавлялся и поглощался. Кремль был распят. Жестоким пластиком стремился ввысь, прорастал из белеющих костей индустриальный не то собор, не то орган, готовый восславить новое божество или же его отсутствие и исторгнуть музыку нового подступавшего века. Ужас и грация вновь сплелись. Конечно, к этому можно было подготовиться: достаточно было взобраться на какой-нибудь холм или подняться на смотровой этаж тур д'Эффель, однако таких счастли-

чиков было немного; с земли же обзор надёжно закрывала пропавшая ширма, которая, как сейчас припоминают, сверху была, кажется, изогнута и покрыта отражающим материалом.

Те, кто отважился войти, за главным входом обнаруживали приземистые палаты, покрытые росписями, мехами или тканями, заставленные утварью, стендами или экспонатами, повествовавшие об истории, традициях и связи поколений. А за ними – внутренние дворы-улучки, на которых можно было встретить и аутентичные избы, и старомосковское боярское жилище, и комнаты в стиле ампира, а также особо выделенные зал приёма и просторный «сибирский ресторан» с ротондой для музыкантов; по отдельному крылу досталось Сибири и Дальнему Востоку, Средней Азии и Кавказу. В каждом был и свой колорит, и нечто, что сплетало его с соседями. Часть стен была избавлена от экспозиционного нагромождения с тем, чтобы порадовать проходивших почти тремя десятками панно – само собой, огромных и искусных, – в основном, авторства Коровина. Это был город в городе в городе, над которым вздымался ещё один город. И то здесь, то там пространство непостижимой для беглого взгляда инженерной организацией резали элементы промышленного каркаса, перенаправляя потоки света и посетителей, но своя логика в том всё же была. Определённые участки улиц и переходов внезапно превращались в пандусы и лестницы, которые вели на подземный уровень (блестящая идея использовать наклон Трокадеро), а он, в свою очередь, являл собой художественное представление промышленно-промысловых секций и процесса добычи и обработки полезных ископаемых, живой и косной материи – всех тех ресурсов, что залегали в недрах или плодились и размножались на бескрайних просторах за пятидесятым градусом восточной долготы.

«Да-да, вам, Созонт Иванович!» Найдётся ли и сейчас Потугин, который рискнёт *в сырых* выпалить, что России не даётся то и это, а в лучшем случае она способна только к повторению?

Все вокруг полагали и заявляли, – вплоть до того момента, когда появились печатные материалы с наконец-то провозглашённой центральной тематикой, – что Российская империя не представит ничего касавшегося колонизации в связи с отсутствием у неё какой бы то ни было колонизационной политики и заморских владений, не говоря уже об обычной вялой экспансии, но человек прозорливый уже по самому расположению Павильона русских окраин мог догадаться, что вот это и есть внутренняя колонизация, вот так она и будет представлена. Но не мог он ни догадаться о подвальном этаже, ни вообразить, что металлический этот айсберг в половину высоты Трёхсотметровой башни прорастает в землю, а корни его оформлены и зафиксированы так, чтобы вызывать неподдельный интерес, не отторгать внимание, но завлекать и манить. Чеканка, эмаль, гравировка, инкрустация, насечка, штамповка, ковка, скань, крепление и травление, даже гальванопластика – не было ни одной детали, ни единого устройства из железа, цинка, меди, хрома либо из их разнопримесных сплавов вроде латуни, бронзы или различных пород стали (сплавов железа с углеродом), особенно чугуна, обходившихся бы без улучшения своего облика хотя бы одним из этих приёмов. Всё играло на желании создать триаду: к ужасу и грации прибавить если не доверие, то, во всяком случае, уверенность.

Увы, всему этому внушительному подавляющему хаосу не хватало простоты и открытости, изящества иной металлоконструкции, когда-то ещё на этапе проектировки встреченной в штыки, приговорённой к смерти на свой двадцатый день рождения, но всё же наверняка в будущем выстоявшей и не умерщвлённой, со временем мифически тонко расцветшей и, помимо прочего, начавшей служить обществу – тур д'Эффель.

Такое заключение вынес Михаил Евграфов, перебрав в памяти весь тот суетный день и дополнив его подслушанными разговорами и заметками в прессе, с усталостью и удовлетворением от результатов трудов своих облокотившийся о портик линзовидной смотровой площадки, что на корме «Александра II Освободителя». Он тоже рассматривал ажурную конструкцию «Железной дамы», при этом старался не думать о смущавших его ассоциациях с бельём и чулками, ворча на общую откровенность нравов эпохи, и в который раз восхищался сме-

лыми гиперболическими изгибами творения воли Эффеля – зачато оно было в других умах, но в глину жизнь вдохнул именно он. И именно изгибами – «кривыми» он бы ни за что не посмел их назвать. С текущего расстояния он мог и без бинокля, благодаря подправленному очками зрению, разглядеть каждую деталь на поясах с высеченными именами инженеров и учёных. Тех, что своими трудами приближали время, когда возведение подобных архитектурных чудес станет возможным. Каждый раз, глядя на ныне слащаво позолоченный, силуэт, он испытывал волнение, переходящее в душевный подъём. Он знал, что его тяга к ней немного неестественна, а потому молчал, не делился с сослуживцами своими чувствами – да, пожалуй, что чувствами, какие только может производить на человека застывшая в железе музыка. Он был очарован ею. Она влекла его. Он наслаждался тем, что её железо пошло не на оружие или железные дороги, но на подобную легкомысленную скандальную роскошь. Ему нужно было присесть. Приступ головокружения неясной этиологии – не настолько уж его разум и особо впечатлителен. Хорошо, что поблизости оказался диванчик, в меру комфортный и роскошный. Михаил Евграфов прикрыл глаза. В реконструируемой мозаике дня не находила себе места пара последних элементов.

Во-первых, он всё никак не мог подобрать ключ к утренней сцене. Тогда он был на борту «Великих реформ». Транспортник был модифицирован под текущие потребности, обычных кают осталось по минимуму, погрузочная палуба же была разделёна на зальцы лёгкими пробковыми либо бумажными, на японский манер, перегородками: в каких-то должны были разместиться переговорные, лекторий и пресс-комната с беспроводным телеграфом и радио, в каких-то – макеты, мелкая техника и прочее демонстрационное оборудование. Дирижабль завершил разворот по широкой дуге над восточными левобережными кварталами и возвращался к территории Выставки, придерживаясь линии набережной. Очертания и цвет обшивки «Великих реформ» рифмовались с покатыми мансардами османовских домов и их утреннему маренго. Со штирборта открывался вид на воду и накинутаю на неё сбрую из дерева, камня и металла – такая вот невольная стихийная «дружба против». Вот серия связанных с островами мостов, вот железный мост Искусств, вот изрядно потрёпанный мост Каррузель, предваряющий вокзал Орсе мост Руаяль, изрядно побитый баржами мост в честь битвы при Сольферино, вечно востребованный мост Согласия... Наконец, над очередным мостом один молодой подпоручик с особым торжеством в голосе, содержащем слишком уж мальчишеские обертона, сообщил, что дирижабль «Великие реформы» пролетает над мостом имени Александра III и набережной в честь Николая II. Только что вышедшие из кают-компаний Тенишев, Ковалевский, Дмитрий Иванович и Савва Иванович, услышавшие это верещание, сперва хохотнули, тем самым смутив подпоручика, которого Дмитрий Иванович по-отечески хлопнул по плечу, чем и успокоил, а затем сдержанно улыбнулись и украдкой переглянулись. Вот это краткое, но отдельное действие – и улыбки, и перегляд – Михаил так и не смог охарактеризовать. Было в этом что-то заговорщическое, но – касательно чего? И стоит ли поспешно связывать это с императорским домом, а не с тем, что названо в честь его представителей?

Отчасти из этого вытекало «во-вторых». Во-вторых, он никак не мог ожидать, что против него, так же как и против остальных членов экипажа, применят звукоизолирующие свойства пробковых стен. У него были достаточные ранг и образование для присутствия на переговорах, а если они касались вопросов технического сотрудничества, так и вовсе по протоколу он должен был участвовать в качестве советника. Тем не менее, и его похлопали по плечу, остановив, когда французская делегация взошла на борт во второй половине дня. То же, как ни странно, касалось и другого офицера одного с ним чина, которому могли отдать предпочтение, и Михаил бы с этим не спорил, но не отдали. Можно было заключить, что обсуждались какие-то неофициальные вопросы. Финансового плана? Что-то связанное с новой железнодорожной сетью? Тогда зачем на столь раннем этапе нужны были, как позже выяснил Михаил, химик и

инженер? Кроме того, он не знал некоторых соотечественников, которые, в отличие от него, всё же были допущены за пробковые кулисы.

«Ох, как бы не политика, как бы не разочароваться в этих прекрасных людях, в этом временном начальстве. Пускай, пускай же это будет всего лишь какой-то сумасбродный проект, аванюре которого разум непременно объявит порицание, и который так и останется лишь в планах, а ещё лучше – в воздухе той самой сымпровизированной каюты, и так же безвредно со временем выветрится, как любая другая импровизация», – думал Михаил, прикусив губу. Но в гораздо большей степени он был обеспокоен тем, что подоплёка его нынешней работы может иметь те же корни, что и та встреча, а он совершенно не хотел играть втёмную, вдобавок оказывая услугу ещё какой-то другой державе, кроме родной, и, подтвердись это, был бы крайне возмущён – вплоть до подачи рапорта через голову, две, десять, если понадобится. Его обязаны уведомить. Когда он вновь лично предоставит отчёт почтенному Дмитрию Ивановичу, не побоятся спросить, что происходит. Пока же он мудро выжидал, набирая профессиональный авторитет в глазах Менделеева. Да и с того дня уже почти как месяц прошёл, больше подобные встречи не назначались. (Или они стали более законспирированными? Нет, к чёрту!) Всё было достаточно тихо, и он честно не хотел ломать над этим голову, особенно учитывая, что теперь он обременён и «в-третьих».

«В-третьих, теперь и это», – вертел он в руках заполученный прошлой ночью странный хронометр. Часы – да не часы, показывают время – да не время. Не только часы и не только время. В работе дополнительных стрелок и назначении чего-то вроде зеркала Михаил не смог выявить закономерности. Ещё и с двумя зеркальцами, таинственно тёмными. Загадка. Как и та, что обронила их. Разбирать было опасно: можно и не собрать обратно, а это, похоже, не тот случай, когда безапелляционная аутопсия даст все ответы, в особенности о незнакомке. Ему бы не хотелось, чтобы его работе снова мешали, чтобы поняли, чем он занимается, а он не смог этому воспрепятствовать. В общем, на эту тайну следовало пролить свет. Михаил удержал в голове это выражение и, кажется, нащупал кое-какую мысль. Дальнейшее он ушёл обдумывать в свою каюту, поигрывая причудливым «никак не хронометром», прятать который, как ни удивительно, было не от кого: коридор уже пуст, никто не шагнул по тисовому полу, все, кто не на вахте, разбрелись по койкам или отправились в камбуз и кают-компанию. Да, он абсолютно неметафорически прольёт свет на механизм.

3

Просыпаться в квартирке было тяжеловато: ей определённо недоставало утреннего света, какими бы расчудесными ни были вечера, а приглушаемый высотой этажа шум пробуждавшихся улиц тоже не способствовал дисциплине бодрствования. Так что оставалось уповать лишь на привычку и внутренний будильник, который не подвёл. Мартин привёл в порядок себя и костюм, вышел из комнаты и увидел, что Энрико, оставшийся здесь переночевать, уже на ногах – и на руках: делал зарядку повышенной акробатической сложности.

– С бодрым утром.

– И тебе привет, – сказал он и принял позу, более соответствующую *homo sapiens sapiens*¹⁰. – Кстати, я тебя рано или поздно представлю местному обществу, так и знай. Никак не позднее ближайших трёх дней.

– Чувствую, мне не отвертеться. Что ж, быстрее с этим покончим, быстрее можно будет заняться другими делами. Хотелось бы свести возлияния к минимуму, я всё-таки не компанейский человек.

– Делами? На отдыхе-то?

– Ну, у меня этакий творческий отпуск за свой счёт, подразумевающий столь же творческий подход к изучению обстановки за столь же свой счёт. Период обдумывания собранного материала и сбора нового, не обременённый сроками, установленными заданиями или рамками приличия и законности.

– И на что это вы, почтенный, намекаете?

– Из нас двоих Генри здесь ты, хоть и просишь друзей обращаться к тебе как к Энрико. Вот и соблазни меня чем-нибудь.

– Ладно... Дориан, – промурлыкал он. – Но учти: это город соблазна, так что хотя бы намекни, что из всего порочного ассортимента станет объектом твоего контракта с дьяволом.

– Общество и группы, конечно.

– Та-ак, и что же интересует нашего великого... даже не знаю, какой специальностью бы тебя поименовать.

– А устрой мне свидание с... *bizarre*¹¹!

– А вы ничуть не изволили измениться, сэр.

– Перестань.

– Нет уж, пока не сделаешь жирный намёк. Я мог бы провести тебя к ребятам, ради которых вырядился, как вчера. По меркам своей среды и обывателей они достаточно *bizarre*, но подойдут ли тебе?

– Хорошо. Я ведь не только учёных интервьюирую и составляю профиль их интересов. Есть некоторое любопытство, проявляемое не только мной, в сравнении подпольных и полуправильных радикальных групп здесь, на континенте, и у нас, на островах. По традиционным, социалистического и революционного толка, материала достаточно, нужна какая-нибудь оттеняющая экзотика. Чтобы не битва за набившие оскомину права угнетаемых масс, а нечто иное.

– Витиевато, *mon ami*¹². Но кое-что и в самом деле есть. Или может быть. Весной что-то такое начало проклёвываться. Попробую протащить тебя – да и себя, чего уж, – на одно из собраний для неофитов, – было видно, что он напрягся, что-то подсчитывая. – Это потребует какое-то время.

– Я признателен уже за то, что после этого ты не бежишь от меня куда подальше – в полицию, например. – На самом деле, признателен он был за то, что Энрико-Генри косвенно подтвердил определённую информацию, а к рыцарям котелка и дубинки – или каково здешнее обмундирование? – он бы, разумеется, в жизни не отправился.

– Ха-ха. Тебе повезло. В этих апартаментах можно говорить не только это, но и столь неприличные слова на «б», как буры и боксёры, – храбрил он себя.

– А «Буэнавентура»? – раззадоривал Мартин его журналистскую жилку.

– Коль помнишь.

– О, бесстрашный наследник дома...

– Ни слова боле! Пока я ишу контакты, – а мне почему-то кажется, что редактору эта затея придётся по нраву, – не намерен ли ты, хм, изучить что-то более обыденное и безопасное? Ну, знаешь, такое, что собирает самые разные группы людей, разные культуры и всё такое?

– Позволь-ка прикинуть... А нет ли в городе какой заметной выставки?

– Ты знаешь, а ведь совершенно случайно именно этим летом именно в этом городе проходит очередная *Exposition Universelle*.

– Всемирная выставка! Какое восхитительное совпадение, какое заманчивое предложение! Нет, правда, мы бы так с тобой и обменивались письмами ещё год или два, не случись этот безудержный праздник жизни и техники. А ещё, пожалуй, даже выделю денёк, чтобы добиться встречи с кем-нибудь вроде Дюркгейма, а лучше всего именно с ним, если не для упрочения академических связей – я всё-таки особых постов в альма-матер не занимаю, – то хотя бы на человека посмотреть: поговаривают, у него весьма любопытные, основанные на нюансах взгляды.

– Не припомню такого имени.

– Вряд ли для прессы какой-то особый интерес может представить учредитель журнала с говорящим названием «L'Annee Sociologique»¹³ или автор работы вроде «Правил социологического метода». Впрочем, мне казалось, что книжка с ободряющим названием «Суицид» должна была произвести... fou rire¹⁴? фурор? И, коль скоро речь в ней идёт о немецкоговорящих католиках и протестантах, заинтересовать французские власти и реваншистов. Уверен, вечерами кто-нибудь из них нет-нет, да и прыгнет в койку с этим томиком – и давай, по-девичьи подпрыгивая ножками, уминая зефирку за щёчкой и повизгивая, перечитывать разделы о самоубийствах в германской армии. – Тут они оба прыснули. Мартин откашлялся и продолжил: – И потом, он, как я понимаю, не сдастся и всё-таки продавит идею создания в Сорбонне социологического факультета, несмотря на нынешнее сопротивление и непонимание. Так что надо успеть прошупать почву, пока он в шаткой позиции.

– Вот он: холодный и трезвый расчёт, который предстоит лечить тёплым...

– Пивом? Но-но, мы же не на родине!

– ...И мягким...

– О!

– Солнечным светом! – прищёлкнул пальцами Энрико.

– О.

– Всё, пойдём уже на свежий воздух. Хотя нет, постой. Ты же просил раздобыть карту Выставки, – произнеся это, он полез во внутренний карман лежавшего на столе пиджака, свободно вставивший брошюру. – Ориентацию подобрали словно специально для прибывающих с восточных вокзалов.

– Для лучших друзей года – русских?

– Если и так, то вряд ли подобную географическую заботу оценят: они, как помнится, прибывают не то на дю Нор, не то на де л'Эст – и пусть тебя не обманывает название второго: оба расположены по соседству на севере города. Но главный вход Выставки и впрямь чем-то похож на кокошник, сам увидишь. На карте он – вот этот треугольничек внизу, то есть на географическом востоке.

– И получается не прогулка по Выставке, гляжу я, но целое восхождение – анабасис.

– Ха, скорее, суть в том, что не получается – катабасис, пусть это и этапы одного сюжета. Хотя некоторые черты, скажем, одиссеевского катабасиса прослеживаются: тут и народы диких стран с края колониальной ойкумены, и многократное пересечение водного потока – не столь всеобъемлющего, как Океан, но и так сойдёт – и берега, мрачные от теней павильонов на набережной, и страшный безлиственный лес металлических каркасов, столбов и опор, и влажные туманы от паровых труб промышленных секций, и циклопический центральный русский павильон, натурально monstrum horrendum, informe, ingens, qui lumen ademptum¹⁵... Если, конечно, заказчики или редактор брошюры принимали это в расчёт. Впрочем, не удивлюсь, что так и было: сейчас каждый любитель философии и некоего – непременно с заглавной буквы – Знания состоит братом в шести обществах и в девяти – великим мастером.

– Ого, да с городской топографией я знаком хуже, чем думал, – Мартин несколько растерянно повертел карту. – Солидную площадь выделили. Хм, секундочку... – с этими словами он извлёк из жилета серебряные карманные часы и начал прикладывать их к карте.

– И откуда у британцев подобная тяга ко времени? Но продолжай, эта игра сулит увлекательное и яркое времяпрепровождение. Прямо как слово «времяпрепровождение».

– Нет, ну ты сам посмотри. Вот эта фигура, которую образуют Большой и Малый дворцы. Она похожа на молоточек, который должен ударить по горлышку сифона с дворцом Трокадеро и Мадагаскаром в вершине и откупорить переполненной всякой всячины, шипящий и искрящий сосуд. Но вместе с тем она похожа и на указывающую ход стрелку, помещённую на стрелке

часовой. Или – а то и *вернее* – даже минутной. Если принять Север за двенадцать и верить указателю на карте, то получится что-то около одиннадцати часов и пары символических минут сверх того.

– Всё-таки обычно часовая стрелка короче, а минутная длиннее. В таком случае не без пары минут час ли выходит? Может, скорректировать по магнитному полюсу?

– Нет-нет, он где-то в районе островов Королевы Елизаветы, так что смещение только усилится. Что до стрелок, то могу напомнить: это лишь игра и хвастовство, условности допустимы.

– И вполне возможно, что в данном масштабе насыщение и классовое разнообразие содержания выставочных площадей как раз и придают стрелкам их относительные габариты.

– А и правда! – живейше подтвердил Мартин кивком своё согласие. – Итак, получается зачин последнего часа. Может ли быть это случайным намёком на подступающий конец уже не века, но эпохи? Знать бы ещё, когда эта эпоха началась – выяснили бы, чему эквивалентен её условный час. А до того, согласись, важно узнать, чья это эпоха. Мира, Европы, Франции? Менее или более приземлённых материй?

– Ну, хорошо, для начала можно попробовать выбрать Францию и восемьдесят девятый прошлого века. Тогда получится... Получится, что у очаровательной Импереспублики в запасе ещё почти десяток лет... Однако Марсово поле и Эспланада не за год появились, и, конечно же, их взаимное расположение определяется помимо прочего и изгибом Сены, а реки тоже изменчивы. Вдобавок, это если считать, что, случится нечто плохое, пробей часы двенадцать, что двенадцать вообще что-то значат. В наши годы негативные рефрены, безусловно, довлеют, но на всё той же Выставке нас из года в год пытаются убедить в обратном.

– А вот эта тема нуждается в отдельном разговоре и самостоятельной гипотезе, к которым мы обратимся уже на месте, – намекнул он Энрико, что не прочь уже и проветриться, как тот и предлагал, но... – Но вернёмся же к часу двенадцатому. Мы ведь говорим о «стрелках», которые не движутся. А потому – всё-таки позволь мне сейчас закончить, придерживаясь декадентской линии, – выходит, что мы имеем дело с символом постоянного угасания, символом вечно готовящейся сломаться машины, из краха которой родится новая машина, новая машина, которая также, ещё не появившись на свет, уже норовит ломаться. За это время страна может обзавестись новым Османом или идеей ещё более крупной Выставки, чьей волей этот символ угасания будет соскоблен с тела города.

– Раз ты избрал такой подход, я для контраста обращусь к христианскому опыту. Мне на ум приходит Матфеево Евангелие. Ты помнишь притчу о виноградаре и работниках?

– За день работы одинаковую плату получили и те, кого наняли первыми, и те, кто пришёл в последний час. Пахавшие с утра остались недовольны, поскольку проделали большую часть работы – однако ж, мы не располагаем сведениями о продуктивности двух групп работников, – на что им резонно возразили, напомнив о договорённости трудиться за динарий в день, таков их неписанный контракт.

– Ха, из твоих уст эта притча прозвучала так, словно пришла к нам не из Нового, а из Ветхого Завета, благо что хоть без смертоубийств обошлось. А то и вовсе из средневековых книг по основам коммерции. Но суть в том, что под возделыванием виноградника подразумевается возделывание души. Не важно, в каком часу ты пришёл к религиозной мудрости, – важно, что пришёл. И поработал над этим. Рады всем. А уж размер награды, то есть спасение души, зависит от божьей воли. И потом, целее и больше одной – своей – души не получить. Так вот, предположим, что Выставка суть виноградник, но речь идёт уже не о будущем христианской души, а о будущем наций. Экспозицион Универсаль самой своей формой обещает, что не так важно, насколько поздно нация запрыгнула в локомотив технического прогресса, – в сотрудничестве и честном соревновании все страны придут к процветанию.

– Что не отменяет важность того, чтобы сесть на поезд пораньше и попасть в вагон своей нации. Вагоны первого и второго класса – ну, ты понимаешь. А кому-то и вовсе, к сожалению, греются роли машиниста и кондуктора.

В ответ на это Энрико лишь тяжело вздохнул.

– А ведь стрелки ещё должны где-то сходиться и получать энергию от часового механизма. Что там на пересечении линий? Площадь, сквер, дом?

– По-моему, там площадь Бретей. Не ручаюсь только, – произносил он слова прерывисто, как если бы подзаводил извилины пружинного механизма памяти, – в честь кого из них, как и проспект. Но вряд ли последнего бурбонского министра или того, что служил Королю-Солнцу, хотя жаль: он был отцом Селестины дю Шатле.

– Моя очередь сказать: не припоминаю такого имени, – это заставило Энрико воссиять.

– Можешь считать, что она была французской Адой Лавлейс XVIII века, так что, скорее, это Ада Лавлейс – Селестина дю Шатле XIX века. Только при том маркиза поосновательней графини. И её Бэббиджем ни много ни мало сделался сам Вольтер.

– Солидно.

– Но, как я и говорил, вряд ли то её родитель. Была ещё парочка, присягнувших Возлюбленному: один был дипломатом-лизоблюдом, а второй – канцлером Франции, хранителем печати, военным министром и главой Ордена Святого Духа.

– Прекрасная память!

– Не особо. Просто недавно в кабаке обсуждали, слой чьих имён покрывает улицы.

– Что ж, лучшей подсказки, чем таковое описание, не найти.

– Да. Так или иначе, если усреднить по всему семейству, то получим, что стрелки сходятся на площади в честь чиновника. А это значит...

– А это значит, что бюрократия и послужит часовым механизмом. Красота какая.

– И вполне сходится с тем кавардаком, что от рождения бичует Импереспублику. Разве что нынешнее правительство наконец-то вселяет хоть какие-то надежды. Сплав кабинета любопытный, ему только на воле лидера и продержаться бы.

Энрико только сейчас заметил, что Мартин так и застыл в той позе – несколько подавшись вперёд, подобно персонажам с карикатур на злободневные темы, и с прижатым к бумаге ташенуром.

– А знаешь, что мы не учли в пылу измышлений? При ориентировании на местности двенадцать часов полагается принимать за юг.

– Но тогда мы будем иметь дело с чем-то вроде, если усреднить, шести часов и двадцати трёх минут, а 6:23 представляют для меня уже какие-то совершенно незнакомые библейские глубины. Да и без них ничего подходящего припомнить не могу, – и жестом сокрушения вывел себя из эксцентричной позы.

Последний взгляд на часы – и впору собираться. Вот уже топчут они лестницу, здороваются с кем-то из безынтересных соседей, спускаются на первый этаж, выныривают на улицу – и обратно примагничиваются к дому, чтобы впитать в себя заряд из кофейных чашек и смазанных конфитюром рогаликов. Теперь можно и на выставку. «К молотку», – как выразился Мартин. Энрико предложил добраться до площади Согласия омнибусом. Так они и поступили, по пути миновав Бурбонский дворец, искореженный несуразно смотрящимся на нём наполеоновским портиком-намордником. Площадь Согласия также произвела на Мартина негативное впечатление. Подлинным пространством подавления счёл её, и эффект бы только аккумуляровался, будь она окружена домами со всех сторон, а так – её энергия гасилась мягкой, но явно недостаточной декоративной зеленью и отводными каналами рю Руаяль и пон де ля Конкор, где поступающие токи либо стекали с моста, рассеиваясь в водах, либо – избери они другое направление – процеживались и трансформировались в здании более многострадальном, чем только что виденный Бурбонский дворец, то есть в Мадлен, фасады которых, по задумке,

срифмовывались. Пале Бурбон хоть и перестраивали, но ему ни разу не угрожали превращением в вокзал; до чего зло и пакостно, словно экстраполируя и переворачивая католический образ Марии Магдалины: из места сакрального, места единения – в проходной двор.

Откуда эта мрачная энергия? От Луксорского обелиска, разделённого со своим близнецом. От него буквально веяло пустотой, а утраченный пирамидион заставил Мартина почти что увидеть, как в воздухе, вопреки гравитации, висит точка, которая и производит тёмные флуктуации. И наверняка сейчас по ту сторону Средиземного моря над парным обелиском находится такой же комок, также производящий нечто, и оба они откликаются на состояния друг друга, уравнивают их и перенимают. И можно утверждать, что состояния эти описываются не только отталкивающими чертами, но и притягивающе-заряжающими. Тот, кто устанавливал обелиск на площади в центре города, как будто это чувствовал и сам, а потому и выбрал подобное размещение: потоки через центральную площадь должны быть многочисленны, но и быстры, здесь не должен скапливаться народ, он должен перемещаться дальше – такой вот контроль. Однако Мартин был способен почувствовать лишь то, что испытывал сейчас, а потому предпочёл более не задерживаться, ретируясь к выставочному входу №1.

А вход и впрямь был похож на затейливый кокошник. Разве что с Марианной или её эквивалентом на вершине и двумя маяками по бокам. Энрико также обратил внимание на тот факт, что сея арка трёхнога, в то время как Эйфелева башня, служившая входом предыдущей Выставки, – о четырёх ногах, но на том он и закончил, не продолжив высказывание каким-либо выводом.

И вновь барьеры, и вновь фильтры в виде ни много ни мало двух рядов пропуска: продажи билетов и их – пытался подобрать Мартин термин – безотлагательной консуммации.

– О, – едва не забыл Энрико, – возьми это. Только, прошу тебя, не повторяй утреннего опыта, смилуйся над вскипевшим мозгом!

– Я, конечно, постараюсь по старой дружбе, но что это?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.